

ЕЛЕНА
ЕРМОЛОВИЧ



18+

САЛОМЕЯ

Елена Ермолович

Саломея

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ермолович Е. Л.

Саломея / Е. Л. Ермолович — «Издательство АСТ», 2023

ISBN 978-5-17-154675-5

«Кто был охотник? – Кто – добыча? Всё дьявольски наоборот!» Закат правления Анны Иоанновны, 1740 год. Придворный bestiарий, объятый пламенем, передел власти, шпионы, алхимики, карлы, гризетки, тайная канцелярия и чёрные мессы. Балы, катания на льду и праздничные квалифицированные публичные казни. Царская последняя охота – на опасного хищника. И те двое, кому никак нельзя быть вместе – и невозможно расстаться.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-154675-5

© Ермолович Е. Л., 2023
© Издательство АСТ, 2023

Содержание

1	6
2	16
3	26
4	37
5	47
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Елена Ермолович Саломея

© Е. Ермолович, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *

*Il caro amante
non siegue il piede
e fido resta ... ma non con te.
(Твой возлюбленный не уклонится с пути,
останется верен... но – не тебе).*
Георг Фридрих Гендель «Альцина», ария Руджерио

1

Цвингер и... цвингер

Морозное солнце вызолотило на паркете четыре квадрата. По-беличьим цокали часы, высокие, башенкой, и на звериных когтистых лапах. От двери обер-гофмаршальского кабинета резко и радостно пахло красками. Слышно было, как напевает вполголоса художница, девица Ксавье.

Дворцовой конторы начальник, обер-гофмаршал Лёвенвольд, пригласил мастерицу, чтобы та украсила стены кабинета росписью в виде птиц и цветов и диковинных махаонов. Иногда вскрикивали и сами птицы в клетках, в изобилии расставленных по кабинету, – художница писала с натуры. Девичье пение, сладкий щебет, журчащие прохладные трели – казалось, что там, за прикрытой дверью, прячется райский сад.

Ижендрих Теодор фон Окасек, секретарь Дворцовой конторы, сидел в приёмной, вытянув ноги в тёплый солнечный квадрат, с улыбкой ловил краем уха долетающие от двери пение и щебет, и вязал на спицах салфеточку. Страсть к вязанию обуяла питомцев Дворцовой конторы мгновенно и беспощадно, словно чёрная оспа. С тех пор, как стало известно, что патрон, обер-гофмаршал, вяжет – за спицы разом принялись все, и простые, не обер, гофмаршалы, и мундшенки, и даже актёры. Сам лейб-концертмейстер Даль Ольо перед репетицией продемонстрировал музыкантам то ли чепчик, то ли косынку, безобразного кадра, связанного собственными руками, – и никто не посмел смеяться, ведь маэстро Даль Ольо слыл опаснейшим интриганом и отравителем.

Фон Окасек отсчитал петли, понял, что запутался, ошибся, и принялся распускать. Жаль было смотреть, как опадает ажурная пена – но гармония дороже всего.

– Прошу прощения, ваше благородие, – послышалось от входной двери, одновременно с легчайшим деликатным стуком, – нам бы секретаря, господина Ижендриха Теодора.

Фон Окасек поднял голову от вязания – он ещё не видел вошедшего, но тот заранее был ему симпатичен. Здесь, в краю лентяев и невежд, имя гордого цесарца-секретаря чаще произносилось простецки – Андрей Фёдорович (Ижендрих – Генрих – Анри – Андрей), и подобная метаморфоза не могла не ранить. Неужели трудно запомнить правильно? А второе имя – оно отнюдь не отчество.

В дверях приёмной переминался, не решаясь войти, господин, стройный, в дорожной одежде, с лицом землистым и будто опавшим после долгого путешествия, но при том с глазами столь яркими и светлыми, что они выделялись на бледном лице, как бриллианты. Сапоги его, и трость, и перчатки – были немалой цены, и подобраны друг к другу со вкусом. Окасек знал, что это главное, остальное в дорожном наряде может быть каким угодно.

Из-за спины у гостя выглядывал мальчик лет десяти, тоже нарядный, толстенький, высокий – как веретено. Этот румян был, и бойко стрелял глазами, дорога, видать, не так уж его и утомила.

– Ижендрих Теодор – это я, – секретарь переложил на бюро своё рукоделие, поднялся навстречу визитёрам и жестом пригласил зайти. Жест был скопирован у его начальника, обер-гофмаршала, пружинистый, почти балетный пируэт. – Чем могу служить?

Гость извлёк из-за пазухи заготовленную записку:

– Мой превосходительный патрон, его сиятельство граф Лёвенвольд, велел явиться в приёмную Дворцовой конторы своему покорному слуге, доктору медицины Якову Ван Геделе.

Гость поклонился, и кудри его взлетели живой волной.

Окасек позавидовал. Натуральные волосы – щедрый подарок фортуны, сам секретарь давно маскировал лысину пышно взбитыми голубиными крыльями, состриженными с невезучих дворовых блондинок.

– Я вижу, вы едва из дорожной кареты, герр Ван Геделе... – Секретарь развернул записку, пробежал глазами и кисло сморщился. – Патрон наш в своей стихии. Так в русских сказках рыцарь обращается к Бабе-яге – прими, накорми, спать уложи. Я должен определить вас на квартиру, которой нет у меня, и что делать со службой – пока вы ехали, наш легкомысленный патрон уже нанял себе другого хирурга, а двое хирургов ему ни к чему. Вот что делать? – В голосе Окасека зазвучала растерянность. – Садитесь в кресло, ждите – пускай его сиятельство явится и разберётся с вами сам. Я поистине не знаю... Вы и сынишку изволили притащить с собою...

Помянутый неуместный сынишка тем временем, привлечённый запахом краски, и пением, и щебетом птиц, встал у двери кабинета и почти в неё просочился.

– Оса, не смей! – устало, почти без голоса окликнул доктор Ван Геделе.

Едва услышав, что патрон взял на его место другого, этот доктор тотчас помертвел лицом, словно мгновенно покрылся серым пеплом. Яркие глаза его померкли, движения сделались тяжелы, он навалился на трость, разом подкошенный и долгой дорогой, и крахом надежд.

– Пусть поглядит, – милостиво позволил Окасек, – там художница рисует, и птички разные, ему забавно это будет – ведь дитя. А вы садитесь в креслице, отдохните, я шоколаду прикажу для вас подать. – Секретарь будто извинялся за патрона. – Как-нибудь да устроится ваша партия...

Маленький Оса бочком скользнул за дверь – слышно стало, что прервалось пение, и художница высоким звонким голосом что-то ему сказала, а Оса – басовито и важно ответил.

– Познакомились, – умиротворённо констатировал Окасек.

Он потянулся к шнуру на стене, дёрнул дважды – то, видимо, был некий условный звонок, для подачи шоколада.

Доктор обречённо расстегнул тяжёлый, волком подбитый плащ, уселся в кресло ждать и закинул ногу на ногу. Окасек машинально мазнул взглядом по задранному высоко сапогу – какова подошва? – и, кажется, проникся к гостю ещё большей симпатией. Поглядел на ногти, на перстни – да, достойный человек, поистине жаль, что такая постигла его ан-фортуна...

В коридоре послышался шум от множества колёсиков – лакей привёз шоколад. Распахнулись створки, вкатилась тележка с кофейником и чашками, крошечными, нежно-прозрачными, как лепесточки жасмина. Лакей, гибкий парнишка, поклёванный оспой столь жестоко, что и пудра не в силах была спасти, принялся разливать шоколад по чашечкам, пританцовывая от усердия. Шоколад пахнул дразняще, упоительно и лился такой тягучей медленной струей – и доктор, и секретарь одновременно невольно сглотнули.

– U-la-la... Какой сюрприз, явиться домой с морозного ветра – и обрести на пороге нежданное счастье!

Два господина вошли в приёмную, оба в шубах, оба нарядные, во вскипающей пене испанских кружев, и со столь искусно напудренными и прорисованными лицами – несомненно высочайшего полёта птицы. Один был росл и румян – румянец пробивался даже через слой его пудры. Он тут же взял со столика чашечку и отпил глоток, и губы его из карминных сделались шоколадного колера. Второй был чуть выше его плеча, хоть и на каблучках – весь в золоте, и в мушках, и с муфточкой – сам обер-гофмаршал. Он, пусть и громко обрадовался шоколаду, пить не стал, побоялся, наверное, за обведённые помадой губы.

Доктор и секретарь вскочили с кресел, словно марионетки, поднятые кукловодом, и одновременно раскланялись.

– А вот и мой подарок для тебя, папа нуар! – обер-гофмаршал разглядел доктора и тут же, как ребёнок, хлопнул в ладоши – так обрадовался. – Вот он, мой вчерашний карточный долг.

Отдаю! Ты же говорил, что доктор у тебя в крепости помер, так вот, забирай моего, он лучший, с лейденским дипломом, и не говори потом, что младший Лёвенвольд не возвращает долгов.

Папа нуар... Высокий, нарядный, румяный господин оказался не кто иной, как ужасный великий инквизитор, Андрей Иванович Ушаков. Доктор взгляделся в него, узнавая, – как-то прежде уже доводилось видеться. И Андрей Иванович взгляделся, узнавая, – этот дракон всегда всё помнил – и узнал.

– Что ж, граф, спасибо, сего лекаря я знаю, если сторгуемся с ним в цене – то и с тобой я в расчёте. Сам ведаешь, лекарь нынче пошёл балован, а казённое жалование мизер, особенно для тех, кто в Европах живал...

Лёвенвольд говорил по-немецки, папа нуар по-русски, но то было обычное дело при русском дворе, придворные говорили по-разному, по-русски, по-немецки, по-французски, по-цесарски, и даже на смеси всех четырёх языков, но понимали всегда всё.

Обер-гофмаршал не ответил ему ничего, только рассмеялся – словно звякнул серебряный колокольчик. И доктор молчал, потрясённый внезапным поворотом своей – то ли фортуны, то ли всё-таки ан-фортуны. Инквизитор поставил опустошённую чашечку на стол, салфеткой стёр с губ шоколадные усы, доктору сказал неторопливо:

– Дела прими у Хрущова, он проводит тебя. Если во всём сойдётся – станешь наш.

Шуба колыхнулась, стукнула трость – чёрный папа уплыл прочь в своих чёрных водах. Обер-гофмаршал замер на мгновение в дверях, играя хвостиками муфты, бросил секретарю:

– Мальчик мой, я на каток, потом к герцогу – пускай не ищут... – И доктору, столь же быстро: – Прости, Яси, но всё же к лучшему вышло, правда? *Vonne chasse!*

Имелось в виду шаловливое придворное – удачной охоты!

И пропал – каблучки и тросточка застучали по коридору, переплетаясь с тяжким ушаковским шагом.

Тут же, словно из ниоткуда, как месяц из тумана, вышел обещанный Хрущов – белёсый, буланный, точно перхотью присыпанный, ассессор Тайной канцелярии. Он, наверное, просто шёл след в след за хозяином, но доктору показалось, что явился он, как демон, призванный черно-книжником, – по щелчку хозяйских пальцев.

– Можно шоколаду? – застенчиво поинтересовался Хрущов. – На дворе морозец адский, аж уши трещат!..

Голос у ассессора был высокий, звонкий мальчишеский альтино. Хрущов явно побаивался красивого, округло-холёного гофмаршальского секретаря, хотя был с ним, по расчётам доктора, примерно в одном чине. И доктор с изумлением про себя отметил, что красивый холёный гофмаршальский секретарь отчего-то сам, несомненно, боится Хрущова.

– Прошу.

Окасек сделал знак лакею, и тот протянул ассессору благоуханную чашечку.

Хрущов взял, осторожно, бережно, и мельчайшими глоточками принялся пить, аж покрывавая от удовольствия. Уши его, оттопыренные, как два крыла, жарко пламенели.

– Что же мне делать с дочкой? – растерянно проговорил доктор Ван Геделе. – Ведь не годится – ребёнка, и тащить с собою в крепость.

– С дочкой? – переспросил Окасек, а Хрущов непонимающе уставился поверх чашки.

– Девочке легче путешествовать в мальчишечьем, – пояснил доктор, – Оса – дочка, не сын.

– Грешно, но практично, – вдруг вставил Хрущов, и два собеседника взглянули на него с изумлением – столь неожиданным показалось им это резюме.

– Вы можете оставить девочку со мною, герр Ван Геделе, – елейным голосом вымолвил секретарь. – Его сиятельство отбыли до вечера, а то и до ночи. А мне нетрудно будет приглядеть, и фройляйн Ксавье просто обожает деточек... Заберёте малышку, как завершите дела свои в крепости.

– Благодарю! – доктор подошёл к двери кабинета, заглянул в щёлочку – художница, долговязая, в мужских штанах, на вершине стремянки что-то малевала по стенам кистью, а серьёзная Оса изнизу подавала ей то тряпочку, то краску. – Надеюсь, девочка вас не стеснит...

– Ничуть! – за Окасека ответил удивительный Хрущов. – Хватит расшаркиваться, побежали, доктор. Если хотите ребят застать – а то ведь по домам уйдут, смена ночная давненько кончилась.

Часы, как по заказу, поднатужились и скрипуче пробили одиннадцать. Хрущов наклонился, поглядел рыбе-выпуклыми голубыми глазами на когтистые львиные лапы, сказал задумчиво:

– Надо ж – ноги... аллегория – бег времени. Побежали и мы.

И, подхватив доктора под руку, споро и бесцеремонно потащил за собой.

Оса, едва заглянув в эту комнату, разом позабыла – и про папеньку, и про долгий снежный путь от Варшавы до Петербурга, когда волки гнались с жутким воем за их санями. И про обещанного патрона, который – «наш добрый гений», и про долгожданный город Петербург, поутру, при въезде, оказавшийся неказистым, нелепым и плоским – куда до Варшавы! У Осы как ветром – здешним, русским, свистящим – выдуло из головы прежние впечатления, очарования, разочарования и надежды – столь чудна оказалась волшебная комната-шкатулка.

Штор не было, и зимнее солнце нахально и резво обтанцовывало стены – по кругу, ведь не было тут и углов. Три стрельчатых окна глядели в сад, снежный, со спелёнатыми мумиями разновысоких версальских топиаров. Вдоль стен тянулись ввысь витые греческие фальшь-колонночки, резные, золочёные – и все они разом сходились в единую точку на сводчатом потолке. Эта комната была – клетка. Цвингер. Перевитые колонночки – прутья клетки, из-за которых узник и глядит на окруживший его райский сад. Райский сад представлен был на стенах весьма подробно: и розовые голенастые фламинго, и журавли с переплетёнными шеями, и два павлина, с растопыренным хвостом и со сложенным (эти – на земле), и радужные попугаи, и серебристые чайки, и снегири, и сойки (эти – парили), и множество ещё неизвестной птичьей мелочи, неузнаваемой, от того, что не раскрашены, только обведены контуром в лазоревом небе. Мебель прикрыта была рогожей, и на полу, и на стульях, и на столе стояли клетки – с такими же птичками, как на стенах, но только с живыми, поющими и трещащими на все голоса.

– Здравствуйте, мальчик!

Оса сперва и не увидала его, парня на стремянке, в белом матросском платке. Нос в краске, палитра в руках – конечно же, сам художник.

– Джень добры, бардзо пшыемне ми пана позначь, – поздоровалась Оса по-польски.

Художник заговорил с ней по-русски, но Оса из вредности решила – нечего баловать. Папенька дома говорил и по-русски, и по-немецки, и по-французски, и даже по-фламандски, но отчего-то Осе захотелось именно польским приветствием озадачить этого глазастого, краской перемазанного живописца.

– И я не мальчик, я – девочка, – прибавила Оса уже по-французски. – Девицам легче путешествовать в мужском платье.

Художник французской речи явно обрадовался, и отвечал Осе – на том же языке:

– Девицам что угодно легче делать – в мужском платье. Ваша покорная слуга – тоже девица в мужском, Аделина Ксавье. А вас как зовут, смелая путешественница?

– Анастасия Анна Катарина Ван Геделе, но вы можете звать меня Оса, – представилась Оса, и тут же спросила сама: – Что за чудной заказчик у вас, мадемуазель Ксавье? При такой композиции он, получается, будет сидеть в клетке?

– Вы знаете про композицию? – отчего-то развеселилась девица Ксавье. – И да, у его сиятельства такой юмор – он именно пожелал сидеть в клетке и созерцать из-за решётки недоступный райский сад. Вы не подадите мне вон ту тряпочку и баночку с чёрной краской?

– С сажей! – сурово поправила Оса. – Я знаю названия красок. – Она подобрала на полу и тряпочку, и баночку и подала художнице. – Для богатого чёрного цвета следует смешать красный, зелёный и синий, а не пользоваться сажей. Иначе выйдет плоско.

– Это фреска, чёрный контур и должен быть плоским, – рассмеялась мадемуазель Ксавье. – Вам знакома живопись?

– Мне девять лет, мне ещё даже альбома не покупали, – мрачно проговорила Оса. – Я писала акварелью, в маменькином. И пастор Захариус меня немножко учил. А потом маменька с сестрицей померли, и папенька собрался на новое место в Петербург. И опять сделалось не до альбома.

– Ах, как жаль! – воскликнула девица, то ли про маменьку с сестрой, то ли всё же про несбывшийся альбом.

Тут в приоткрытую дверь просунулся папенька и громким шёпотом сказал:

– Я оставляю у вас малышку, на час или два, Ижендрих Теодорович пообещал приглядеть...

Девица Ксавье не успела ни отказать, ни согласиться – дверь закрылась, и папенька за нею, судя по всему, был таков. Оса, впрочем, ничуть не огорчилась – ей хотелось побыть подольше и посмотреть на хозяина комнаты, русского обер-гофмаршала, их доброго гения – как прежде звала этого господина покойная маменька. Каков он? Так ли красив, как на портрете у маменьки в альбоме? И почему пожелал очутиться в клетке?

Оса в задумчивости нарисовала на рогоже цветок, одной зелёной краской и единственной тонкой кистью, но получилось всё равно ничего себе. Художница спустилась со своей лесенки – прыгнула, как кузнечик с травинки – и подошла поглядеть:

– Ты – чудо-дитя?

«Сами вы!..» – чуть не сказала Оса.

А ещё художница, образованная дама...

– Я не чудо-дитя, я не умею читать мысли и умножать в уме трехзначные числа, – ответила Оса наставительно и с укором. – У нас в Варшаве подвизалось одно чудо-дитя, из дворни пана Потоцкого. Мальчик одиннадцати лет, умножал трехзначные числа, читал по губам и помнил Библию наизусть. Он потом скончался от умственной горячки. А я всего лишь нарисовала ромашку берлинской зеленью. Меня нельзя показывать в салонах.

– И слава богу! – рассмеялась художница. – Но вы так верно чувствуете линию, мадемуазель Оса, и у вас так здорово поставлена рука! Вы, несомненно, талантливы.

– Но всё же не умножаю в уме друг на друга трёхзначные числа...

Кто-то приоткрыл дверь и зашёл, но Осе важно было продолжить свою мысль. Чудо-дитя – это даже звучало унижительно.

Вошли двое, маленький мальчик и с ним рослый тип в сиреновом, с коробкой под мышкой, судя по парикам и по туфлям – дядька. Мальчик был младше Осы и куда меньше ростом, зато нарядный – как будто игрушечный. Он разглядел Осу, в её мальчишеском, и явно сморщился от отвращения.

– Мой брат легко умножает в уме трёхзначные числа на трёхзначные, – сказал мальчишка с сердитой гордостью.

– И его показывают в салонах? – уточнила Оса.

– Его из салонов за уши не вытащишь! – хохотнул мальчишка.

Он был красивый, как фарфоровый пастушок, в подвитых локонах, и, несмотря на возраст, изрядно напудрен.

Мадемуазель Ксавье представила детей друг другу:

– Шарло, перед вами Анастазия Анна Катарина Ван Геделе, путешественница, девица в мужском платье. Оса, перед вами юнгер-дюк, его светлость герцог Карл Эрнест Бирон. Его светлость оказали мне милостивое покровительство и неоценимую помощь в поиске натуры...

– Наши птички, – горделиво пояснил юнгер-дюк и широким жестом обвёл птичьи клетки, – из папиных оранжерей.

Он, видать, сперва приревновал художницу к новому, большому мальчику, но потом, убедившись, что соперник всего лишь девчонка, оттаял. Оса не понимала, конечно, цену придворных нарядов, но этот принц был как пушистая чайная роза, столько слоёв лепесточков, и бантиков, и кружев, и пахло от него розочкой, и губы блестели от помады... Ну, кукла и кукла – руки так и тянутся потискать.

– Друва, доставай! – велел юнгер-дюк, и дядька вынул из-под мышки коробку, раскрыл – на дне лежали несколько попугайчиков, уныло и безвозвратно дохлых. – Таких у тебя ещё не было, Аделинхен! Я сам их убил в папином зимнем саду.

– Ну и дурак! – мрачно определила Оса.

– Ах! – одновременно выдохнули и художница, и дядька, а дядька даже втянул голову в плечи.

Принц растерялся, открыл в изумлении накрашенный рот, но злиться пока не начал.

– Ты что, не мог их, как этих, – показала Оса на клетки с живыми птицами, – тоже в клетках принести?

– Этих принёс папин егерь, – пояснил мальчик, начиная краснеть, – а я хотел сам.

– Так ловил бы силками, мы в Варшаве и ржанку так ловили, и щурку. Ты таких красивых убил, я даже не знала, что такие бывают... Неужели самому не жаль? Мог бы силок поставить – и потом в клетку. Ты их что, пращой?

– Из рогатки, – принц вынул из-за пояса полированную, с золотыми ушками, рогатку и показал. У него на поясе висели ещё и крошечная шпажка, и такой же, словно игрушечный, кнутик, и миниатюрный стилет. – Ты грубила мне, я велю тебя выпороть.

Дядька и художница переглянулись и одновременно охнули – они явно ждали этой фразы.

– Ну и дурак, – мрачно повторила Оса. – Во-первых, дворян не порют. И лучше бы ты велел мне научить тебя ставить силки. Думаешь, мамзель Ксавье приятно будет рисовать дохлятин? Тут печку топят – они через час уже примутся вонять. Там, в вашем зимнем саду, ещё остались такие же – живые?

– Ага, – как во сне, проговорил принц, – полно.

– Так пойдём, наловим. А этих, дохлых, в печку. – Оса вздохнула. – У одной кишки наружу... Как такую рисовать?

Оса и не заметила, что художница и принцев дядька глядят на неё с почти благоговейным ужасом. Девица Ксавье даже прошептала едва слышно:

– Чудо-дитя...

Принц вернул рогатку за пояс, смерил взглядом самоуверенную собеседницу, – он отлично умел смотреть свысока, даже на толстых, выше себя, девчонок, видать, прежде успел натренироваться на придворных, – и проговорил благосклонно:

– Я велю тебе, Анастасия Анна Катарина, обучить нашу светлость охоте с силками. Ведь ты точно умеешь?

– Откуда патрон вас знает?

Хрущов легко сбежал по лесенке вниз, с берега на невский лёд, и изнизу любезно подал доктору руку – у того на скользких ступенях разъехались ноги. Дорогие варшавские подмётки не больно-то годились для русской зимы.

– Так ещё с «Бедности».

«Бедность» была – московская каторжная тюрьма. Ассессор понимающе, уважительно крикнул.

На реке был расчищен каток, и по льду катились уже первые отважные и легкомысленные счастливицы. Вокруг катка стояли трибуны и арки из папье-маше и толпились гвардейцы – каток

был, по всему судя, не для всех, а придворный. Вот карлики в петушиных платьях высыпали на лёд и тут же картинно повалились друг на друга, словно костяшки домино – готовилось шутейное представление.

Позади катка сверкала и вовсе невиданная штука – высочайшие фигуры изо льда, и вроде бы даже дом ледяной, но только без крыши.

– Что это? – спросил доктор у Хруцова, невозмутимо трусившего к крепости по протоптанной в снегу тропинке. – Неужто замок ледяной?

– Дворец изо льда, проект архитектора Еропкина, – равнодушно пробубнил ассессор, – по оригинальной затее князя Татищева и князя Волынского. Инженер – Георгиус Крафт, академик. Публично ругать и смеяться не советую. Двух ругателей сей дуры ледяной вчера пытали у нас на дыбе.

Доктор не понял, за что вдруг можно ругать, или невзлюбить столь забавный ледяной дом, и вслух удивился. Хруцов оглянулся, придерживая на ветру шапку:

– Странное... людям свойственно всё непонятное хулить и ненавидеть.

Доктор поглядел на радугой горящий, как самоцвет, дворец – несомненно красивый. Солнце било в полированные грани, и яркие лучи ходуном ходили над домом ледяным – словно зарево.

– Поспешим в наш собственный замок! – поторопил провожатый.

Впереди вставал зловеще Заячий остров, и шпиль Петропавловский тоже играл в лучах, как наточенная шпага злодея-бретёра.

Доктор Ван Геделе запомнил московскую «Бедность» – угрюмую, пустынную. В «Бедности» ему всё мерещились отрубленные головы на острых кольях ограды, словно в ведьмином замке. А эта тюрьма, Петропавловская, оставляла впечатление то ли курятника, то ли постоянного двора. Сразу за воротами разгружали подводу с дровами, во взрытом снегу обильно насыпаны были конские яблоки, пахло луковой похлёбкой, хаотически бегали собаки и куры, и гвардейцы, обнявшись, гортанно гоготали на крыльце. Вся внешняя суровая строгость зловещего здания разом стёрлась, как меловые пометы с катрана. Какое уж тут злодейское обаяние, когда баба, переваливаясь, бежит через двор с ведром дымящегося арестантского варева, и две собаки спешат за нею следом, подобострастно повизгивая?

– Привет, Мирошечка! – окликнул Хруцов одного из хохотунов-гвардейцев. – Как там ребята мои, по домам давно?

– Какое!.. – тягуче отозвался красавчик-гвардеец. Был он черноглаз и как-то особенно ярко смугл, под белейшим париком и снегом припорошенной шляпой, и слово «какое» произнёс с греческим гортанным «э» на конце – «какоэ». – Здесь ребяташки твои, на стене сидять, песни спевают.

Доктор невольно представил себе ребяташек, сидящих на отвесной стене, как мухи.

– Вот и славно, – обрадовался Хруцов. Он приобнял доктора, увлекая его за собой в обитую железом дверку узилища. – Успеете, значит, познакомиться. Но сперва – поторгнемся, мемории зачтём. Может, вам ещё и не глянется у нас.

Они шли по коридору – потолочки низкие, полы гулкие, от стен холод. Свет падал клетчатými бликами из зарешёченных, на самом верху, бойниц.

– Отчего прежний доктор помер? – спросил осторожно Ван Геделе.

– От старости... – Хруцов отворил собственным ключом невзрачную, в ряду таких же, дверь, вошёл и поманил доктора за собой. – И тот, что до него, тоже от старости помер. Мы своих лекарей лелеем, как розы – пятьсот талеров в год.

– У нас в Лейдене профессор имел такое жалованье, – вспомнил доктор. Правда, обергофмаршал посулил ему ещё больше. Но где он ныне, тот гофмаршал? – И каждый день на службе нужно присутствовать?

– Какоэ!.. – рассмеялся весельчак Хруцов, явно повторяя давешнего гвардейца.

Они стояли в кабинете, скромном, холодном, с таким же, как в коридоре, решётчатым окошком-бойницей. Видавшая виды мебель, бюро с поцарапанными ящичками, стол со щербатой столешницей, и на столе – приборы для письма, спартански скромного декора. Стену украшал портрет нарядного румяного господина, ценою явно превосходящий всю прочую немудрёную обстановку.

– Добро пожаловать в наш цвингер. – Хрущов приглашающее кивнул доктору на стул, а сам принялся рыться в недрах бюро. – Сейчас, мемории для лекаря отыщу... Наш прежний лекарь, Фалькенштедт, имел практику в городе, и к нам являлся разве что по большим праздникам. Раз в неделю, если два – это, значит, медведь где-то сдох. Дел нынче мало, доктор с нами не сидит, мы запиской его вызываем. Если пытка, и покалечили кого, или кто болеет, так, что помереть грозит. А в остальном – сами, сами, кат наш сам бывший лекарь, справляется собственными силами. Есть, правда, почётная повинность – если при дворе праздник затевается – наш лекарь на нём дежурит. При дворе редкий праздник без увечий...

– Это мне известно. Горки...

– Что горки! Тут давеча его светлость, обер-камергер, нынче он дюк Курляндский, изволили в Петергоф привезть икара, и тот летал. На двух крылах таких перепончатых, и над аллеями. На одного пажа икар приземлился, и двум дамам кровь отворяли – от чувств-с, когда диво сие над ними изволило реять.

Доктор представил – и хохотнул. Хрущов извлёк из недр бюро несколько листов, перебрал и отдал.

– Вот мемории для тюремного лекаря, сиречь инструкции – что делать, что не делать. Там же подписка, чтоб тайн не разглашать. Если всё вас устроит, то мы все такую подписываем. И уж если подпишете, доктор, то, как папа нуар изволили сказать, вы наш.

– Это – он? Папа нуар? – кивнул Ван Геделе на портрет румяного господина.

Сходство угадывалось, но портрет был всё же чересчур комплиментарен. А написан – мастерски. Руки, набеленные, с пухлыми пальцами, с острыми ноготками, были в точности как у оригинала.

– Был у нас подследственный один, художник Никитин, – мечтательно проговорил, почти пропел ассессор. – Много лет дело его тянулось. Вот, изволил отблагодарить патрона за мягкое обращение. Старался, бедняга!.. Похож вышел папа нуар?

– Похож, – не стал спорить Ван Геделе. Он пролистнул мемории – инструкции, писанные скучным казённым языком, но вполне гуманные и дельные. Подписка, видно, общая на всех, имя следовало вписать в пустую строчку – запрещала болтать за пределами крепости о делах, текущих и прошедших. – Меня всё устраивает. Я – ваш, господин ассессор.

– Я помню, что дочка вас в приёмной дожидает, – говорил, как будто оправдываясь, ассессор, – но герр Окасек добрейший дядька, он её не обидит. А с ребятишками обязательно нужно познакомиться. Вам ведь с ними – бок о бок отныне, и им – с вами...

Доктор не возражал. Договор их был подписан и оставлен до поры – до ушаковской визы. Но то дело было, видать, решённое. Ассессор вёл доктора по сумрачным ходам равелина – знакомить с ребятишками.

– Аксэль, наш кат, говаривал, что у него полдома пустует и хозяин ищет жильца... – продолжал петь Хрущов. – Ох, чуть не свалились! – Он дёрнул доктора за рукав, отведя от внезапной чёрной дыры в полу. – Колодец наш. Достопримечательность, изюминка здания.

«Хороша изюмина!» – подумал доктор, оглядываясь на чернеющую среди плит квадратную ничем не огороженную яму.

Они поднялись по узкой винтовой лестнице, Хрущов первый, доктор за ним, и, едва высунув голову на свет из проёма, ассессор воскликнул:

– А вот и они! А я, ребятки, к вам с обновой!

Доктор вылез следом, на свет, на крепостную стену, прикрытую деревянным навесом. Здесь пылали огнём две железные бочки, на парапете расставлены были шкалики и нехитрые яства. Ребят трое было, двое в мундирах и один в партикулярном, но зато с матросской подзорной трубой. Доктор машинально скользнул взглядом в направлении трубы – ну да, ну да. Невский лёд, каток придворный, и катание в самом разгаре – даже и без трубы отлично различимы экземпляры на коньках и в замечательных шубах ценою в четыре псковские деревни...

– Представляю вам нового лекаря, – Хрущов церемонно указал на доктора. – Яков Ван Геделе, доктор медицины, обучался в Лейденском университете.

– Ого! – оценил тот, что с трубой.

Он был высок, могуч, красен и под шапкой очевидно лыс. Двое других были ему едва по шею.

– Кат наш, Аксэль Пушкин, – представил ассессор здоровяка, а за ним и двух его товарищей, – канцелярист Прокопов и подканцелярист Кошкин. – И совершенно внезапно прибавил: – Гривенник на четырнадцать.

– Вы знали, ваш-благородие! – с разыгранной обидой возгласил кат Пушкин. Эта реплика многое сказала доктору Ван Геделе об отношениях внутри тюремного коллектива – тёплое «ваш-благородие» говорило об уважении и симпатии, а интонация весёлой обиды – о присутствии даже некоторого либерализма.

– Что ж ты хочешь, Аксэль? Нумер четырнадцать к двадцатке и тройке как намертво был пришит, в тридцатом-то, – отвечал тотчас подканцелярист Кошкин, лысеющий глазастый кудряш. – А двадцатка и тройка наши. Вот и думай...

– А-а... Принято, ваш-благородие! – Кат Аксэль ударил себя по карманам полушубка. – Ставки сделаны!

Доктор уж понял, что речь ведётся о каком-то тотализаторе – ставки, номера...

– Собачьи бои? – спросил он у Хрущова.

Тот улыбнулся – совершенно очаровательно, показав белоснежные зубы, посаженные во рту боком, как у акулы:

– Вы же подмахнули нашу подписку, доктор? Рано или поздно вы непременно разгадали бы наш маленький секрет, уж лучше я сам открою его для вас. Прямо сейчас. Мы все здесь делаем ставки, и кат, и канцеляристы, и подканцеляристы, и ваш покорный слуга. Но бьются на нашей арене псы, ну, очень хороших пород. Лучших... – ассессор указал рукой в сторону реки, туда, где на льду раскатывали нарядные персоны. – Вот они. Мы пытаемся угадать, кто из персон в этом месяце прибудет к нам в гости, и все кандидаты у нас пронумерованы, для удобства.

– А где список? – тут же полюбопытствовал доктор.

– В голове. – Кат Аксэль похлопал себя по шапке. – Ведь секретность, конфиденс, пронохает патрон – и вылетим все разом, да ещё на прощание шкуру снимут. Но если заинтересуетесь, герр Ван Геделе, я вам всё подскажу. Разложу все номера, как пасьянс – кто и почём...

– Лучше другое подскажи, Аксэль, – перебил его ассессор. – У тебя же, помнится, полдома пустует? Доктору надо. Ему пообещали квартиру, да оказалась занята – и вот он с дочкой мыкается с утра в дорожной карете.

Хрущов, конечно, несколько сгустил краски – дорожная карета была пристроена в сарае Дворцовой конторы, а дочку взялся опекать разлюбезный фон Окасек. Но будущее докторского семейства – увы, терялось в тумане.

Аксэль опять ударил ладонями по карманам – это был, наверное, его любимый жест.

– Домик славный, – сказал он, – почти на Мойке, позади лопухинского английского сада. Отдельный вход, прислуга общая – Лукерьюшка, почтеннейшая. Вдова, в летах, убирает, готовит. За дочкой посмотрит, коли надо. Не пьяница. Я так хвалю, оттого, что вижу – вы, доктор, человек дельный, а хозяин-немец всё мечтает мне соседями каких-то жонглёров подселить.

– Актёров? – переспросил доктор.

– Да бог весть, каких-то шутов и шутих из танцевальной школы – она окошками к нам прямо в окна глядит. Каждый вечер смотрю – как девки толстые на мысках прыгают. Но если хозяин узнает, что вы из нашего ведомства жилец – он вам не откажет, и жонглёрам от ворот поворот, и нам с Лукерьюшкой облегчение выйдет.

Доктор знал, что Мойка – это лучший район, оттуда рукой подать и до дворцов, и до манежа, и до самой крепости. Он согласился, мгновенно, почти с восторгом.

«Как-нибудь да устроится ваша партия...» – так ведь желал ему добрейший фон Окасек, Ижендрих Теодор.

Аксель написал две записки – с адресом, для кучера, и вторую для прислуги. Как для Яги из русских сказок, помянутой недавно всё тем же Окасеком: прими, накорми, спать уложи.

Доктор Ван Геделе взял записки из его рук, простился со свежобретёнными сослуживцами и бегом поспешил обратно, в приёмную Дворцовой конторы. Внутренний голос не шептал, а буквально выл ему в уши – торопись! Увы, девочка Оса, деловитая, рассудительная, всегда спокойная, имела способность притягивать к себе зловключения, как магнит – вопреки всей своей невозмутимости, даже вызывать – так неопытный некромант невольно выманивает с того света покойников.

Доктор летел по снегу, по невскому льду – мимо дивного ледяного дома и мимо катка с нарядными катальщиками. Тотализатор... Ставки на собак, дерущихся под дворцовыми коврами, – кого-то из драчунов мёртвым выбросят вон после схватки?

Милейшими людьми оказались его новые сослуживцы, и наделёнными чувством юмора.

2

Пупхены и патроны

Мороз был столь силён, что не спасали ни шуба, ни печка, ни волчья полость. Бледное зимнее солнце стояло над Невой низко, в маслянисто-радужном холодном круге. На льду копошились тёмные фигурки рабочих, а прозрачные своды и стены ледяного дома – играли радугой, заманчиво и утешно.

Санний возок встал. Князь Волынский – кабинет-министр и обер-егермейстер её величества – сделал из фляжки уж который за утро глоток и спрыгнул с подножки саней во взрытый полозьями снег.

На набережной, поодаль от княжеской кареты, сиял совершенствами изящный золотой экипаж, в таком не погнушалась бы разъезжать и сказочная фея.

«Тебе-то что тут понадобилось, таракану?» – зло подумал Волынский и отхлебнул из фляги ещё.

Этот экипаж был ему куда как знаком – как чирей на собственной заднице.

К министру подбежал инженер, давно заждавшийся, изогнутый услужливо наподобие вопросительного знака, и с почтением проводил патрона по лесенке вниз, на речной лёд.

На льду уже игрался спектакль – обер-гофмаршал фон Лёвенвольде, или Лё-вольд (как произносили это имя с томным прононсом некоторые мамкины французы) с интересом внимал Жоржу Крафту. А архитектор Крафт разливался соловьём, производя руками энергичные пассы, весь в облаке белого пара. Гофмаршал улыбался, кивал, поигрывал тросточкой – делал вид, что разбирается и понимает.

– Приветствую, господа, – коротко поздоровался Волынский. – Можешь начинать хватать, господин академик и архитектор. Тебя-то, гофмаршал, что за нелёгкая принесла? Ты же спишь в эту пору?

Князь злился. Брови его, изломанные, чёрные, сошлись к переносице, и ассиметричное породистое лицо приобрело выражение хищное и зловещее.

– Мой каток отсюда неподалёку, вот, забежал к тебе в гости. Ну, и любопытство, и ревность... – отвечал Лёвенвольд, тихо, стерев с губ улыбку, но – только подобные старые селадоны так умеют! – смеясь глазами. – Прежде эти эскапады приходилось воплощать мне, по долгу обер-гофмаршала.

Удивил, порадовал! Все при дворе выучили, как отче наш – обер-гофмаршал не знает по-русски, и нарочно не желает знать, и свои знаменитые интермедии выучивает на слух, как стихи. Ан нет, Лёвенвольд щебетал по-русски весьма бойко, разве что с сильно картавя и гипертрофируя шипящие.

– Ты разве инженер, гофмаршал? – не без яда спросил Волынский.

– В мои обязанности входит ремонт дворцовых фонтанов, – со скромным достоинством напомнил Лёвенвольд. – Или ты гонишь меня, Артемий?

Крафт, в свисающих с парика сосульках и с красным носом, с удовольствием следил за диалогом, молчал, не влезал, но видно было, что человеку интересно.

Князь дёрнул щекой.

– Никто тебя не гонит, гофмаршал, мне это не по чину. Не замёрзни смотри!

Лёвенвольд в ответ лишь повёл плечами в соболиной шубе. Шубу дополняла муфта с белыми хвостами, зато чулочки были на нём те ещё, шёлковые, комнатные, и шитые золотом туфельки бесстрашно попирали лед. Таракан! Ну, что он делал там, на своём катке, и в таких-то туфлях?

– Господа, прошу в карету! – позвал инженер.

Карета (одно название!), лёгкие саночки, в которые впряглись трое дюжих рабочих – предназначалась, чтобы в тепле и комфорте объезжать строительные уголья.

Волынский уселся первым, Крафт сел напротив, Лёвенвольд пристроился возле архитектора, запахнув в мех свои кукольные туфельки, инженер прыгнул на запятки. Рабочие бодро побежали, саночки заскользили по льду.

Крафт раскрыл чертежи:

– Здесь, – указал он рукой в тёплой перчатке, – будут стоять два дельфина, плюющие горячей нефтью. Перед домом планируем поставить шесть пушек, стреляющих ледяными ядрами. Фундамент и стены едва начали закладывать. Лёд молодой, прогибался, пришлось укреплять.

– Как укрепляли? – спросил Волынский, и тут же игривое воображение выдало картину, как молодой лёд даёт трещину, санки с бульканьем идут под воду и министр торжественно тонет в компании противного Лёвольда.

– Налили воды, она замерзла, лёд окреп, – разъяснил Крафт.

Глаза его покраснели, нос был синий от холода.

– Хлебни, архитектор, – Волынский протянул ему фляжку, тот отхлебнул, предложил Лёвенвольду, гофмаршал скроил брезгливую рожу. Лицо его было белым и бархатно-яично-гладким – особенно в сравнении с красным обветренным лицом Крафта – лишь тёмные глаза лихорадочно болезненно блестели.

«И только глаза его дивно сверкали... Интересно, какая у него станет физиономия без пудры, если его умыть?» – подумал Волынский.

– А позади дома планируем поставить слона, – продолжал Крафт, возвращая фляжку после прощального глотка. – Слон обещает трубить и также извергать пламя. Чертёж слона ваше высокопревосходительство может наблюдать на листе три.

Волынский открыл лист три и оценил слона. Лёвенвольд – такое же высокопревосходительство, согласно табели о рангах – вытянул шею и тоже посмотрел, правда, он-то видел слона вверх ногами.

– А пламя из слона не растопит лёд? – спросил любознательный гофмаршал.

– Отнюдь, – отвечал архитектор, – конструкция этого не позволит.

Саночки замерли напротив еле намеченных пирамид.

– Это будут врата, – поведал Крафт. – Смотрите лист четвёртый.

Лёвенвольд вытащил из муфты табакерку, дважды вдохнул табак (жадина, не предложив никому ничего!) и уставился на Волынского горящими подведёнными глазами, словно что-то хотел спросить, да не решался. Так и не решился, отвёл взгляд и зарылся носом в пушистую муфту. Полозья подпрыгивали, и хвостики муфты магнетически дрожали...

Санки вернулись к месту своего отправления, остановились, рабочие побросали сбрую, и Крафт провозгласил:

– Мы закончили нашу маленькую экскурсию. С чертежами господин обер-егермейстер и господин обер-гофмаршал смогут ознакомиться подробно уже в более тёплом месте.

– Благодарю, Георги!

Волынский свернул чертежи и шагнул на снег.

– Пропала муфта! – Лёвенвольд сидел в санках и в растерянности прижимал к носу кружевной платок, сочно пропитанный кровью. Изрядно облитая красным муфта валялась рядом на снегу. – Так бывает, сегодня слишком уж солнечный день...

Архитектор протянул ему чистый платок, и Лёвенвольд отбросил свой, кровавый, в сугроб.

– Спасибо, Жорж, – проговорил он по-немецки, – мне чертежи не нужны, я ничего в них не смыслю.

– Как же ты чинишь фонтаны? – не утерпел Волынский.

– Как придётся...

Лёвенвольд выбрался из саночек, всё ещё пряча нос в розовое от крови кружево.

Волынский неотрывно смотрел на него из-под густых бровей. Взгляд его был – живой, огнём написанный вопрос:

«Зачем ты здесь?»

И Лёвенвольд серебристо рассмеялся – улыбка сверкнула из-за кровавого платка – и почти пропел по-немецки:

– Артемий, я боюсь спросить – ты ведь знаешь мой нерешительный, робкий характер... Но скажи, ты ведь уже дарил герцогу своих... пупхенов?

– Пупхенов? Нашему герцогу? – переспросил Волынский. – Ты что, рехнулся, гофмаршал? С чего?

– Ах, забудь. Прощайте, господа!..

Лёвенвольд принял протянутую руку лакея и легко взлетел по деревянной лесенке на набережную, стуча по льду каблуками золотых туфель, словно оленёнок копытцами.

– Какой изящный молодой человек! – с симпатией произнёс Крафт. – Не думал, что господин обер-гофмаршал интересуется строительством.

– Господин гофмаршал не интересуется строительством, – мрачно отвечал Волынский, – господина гофмаршала интересует нечто совершенно иное. И он совсем не молод, ему уж сорок два года.

Он вспомнил, наконец, что там были у него за пупхены.

У папеньки в библиотеке хранился старинный часослов, запутанный в цепях, будто каторжник в железа. Распутаясь цепи, раскроешь мудрёные замочки, откинешь бархатную дверку, крышку сказочного сундучка, – и глядят на тебя чудеса, небывалый мир, в золоте, в лазури, с глазками, с лапками. Генварь, февраль, март – человечки танцуют на балах, добывают на охоте невиданных зверей, возводят сахарные замки. Иногда любят, ссорятся и затевают дуэли. Иногда умирают от чумы. Красиво умирают, нарядные, с ювелирно прорисованными тонкими личиками.

К чему вспомнилось? Ах, да. Жизнь в том папенькином часослове протекала под эмалево-синими, жгучими, в золочёных звёздах, небесами. У Вилли Монца, кавалера Монэ де Ла Кроа, глаза оказались эмалево-синие, жгуче-яркие, как те небеса, в длиннейших лучах золочёных ресниц. Погибель, леталь...

На фронте он был переговорщиком, твёрдым, как сталь, и скользким, как шёлк. Бесстрашный умница и хитрец. Артемий в войну слышал о нём, о его коварстве и жёсткости и об умении уговорить любых и на любое. А потом увидел его – уже при дворе.

Нежнейший кавалер Виллим Иванович был весь золото и лазурь, играл на золотых же клавикурах и пел, сладчайше, в манере под Столетова:

Истосковалася я,
Иззяблася без тебя.
Где прежде ты был,
Доколе не узнала тебя?

Столетов был модный пиита, и царицын секретарь Виллим Иванович пригнул его, оказал высокое покровительство. И сам, русского языка почти не зная, пытался сочинять такие же, как у Столетова, девичьи чувствительные баллады, исполнял их, плача голосом или смеясь, перевирая русские слова на сладостный франкофонный лад.

Где прежде ты был? Великолепный, незабвенный. Золотой де Монэ, с французским прононсом его имя читалось ещё прекраснее – Демон, а придворное прозвище было, контрастно, Керуб. Они скоро подружились, благородный Гедеминевич, Артемий Петрович, и немецкий

парвеню, пасторский сын Виллим Иванович. «Мамкин француз» – так звал Артемий немецких выскочек, читавших имена свои на французский манер и щебетавших на забавно перемешанном немецко-французском суржике. Так и его звал – нежно, смеясь.

Дружба льстила им обоим. Виллим Иванович, царицын амант и секретарь, мог подписывать у высочайшей патронессы, не глядя, любые бумаги, но в этом ли было дело?

Астраханский губернатор, злодей, мздоимец, убийца. И любимец августейшей четы, их наперсник, добрейший, милейший, ангел, Керуб, певчая птица. Странная пара, неразлучная пара...

«Мой любезный друг и брат» – так звал его Артемий. Он и стал его другом и братом, этот отчаянный беспечный красавец. Волынский мог не только просить его о милостях или обмениваться ценными презентами, но и поведать о том, что был недавно болен, о служебных неурядицах в Астрахани, о том, что «Терек не лучше ада, у которого живут или звери или черти» – и в ответ услышать, что и в Петербурге довольно и зверей, и чертей, можешь по приезде лично убедиться, так что не бери в голову.

Покровитель, но такой, у которого можно одолжить рубашку и парик перед важным приёмом, если ваши сани по дороге в Петербург провалились под лёд и все наряды пропали. Покровитель, в минуту чернейшей хандры присылавший записку со стихами, писанными нелепым слободским письмом – русские слова латиницей – и в стихах этих просьба к Артемию не умирать, хотя бы до вечера, до следующей их встречи.

Великолепный патрон, друг и брат, ослепительный романтик с головой в облаках.

При дворе де Монэ имел свою бледную тень, копию, так и не дотянувшую до оригинала. Её величество искренне забавлялась, наблюдая этих двоих в одной зале – синеглазого бледного камергера де Монэ и камер-лакея Лёвольда с его оленьим бархатистым взором и тонкими усишками. Их черты были схожи – высокие трагические брови, чётко очерченная линия подбородка и капризный насмешливый рот. Один предпочитал лазоревое, другой – золотое. Как близнецы Schneeweißchen und Rosenrot из старой немецкой сказки...

У Лёвенвольда сходства с де Монэ было даже больше, чем с собственным его братом Карлом Густавом. Государыня веселилась, двор смотрел на них двоих – столь разных и столь похожих, а двое – смотрели друг на друга.

И пробил час явиться на сцену – пупхенам. В тот день Волынский приехал к другу с подарком. Гость прошёл в комнаты, убранные с версальским шиком, и слуга, шагавший за ним, нёс, крихтя, двух объёмистых золотых пупхенов, сиречь амуров – символы нежной взаимной привязанности.

В роскошной гостиной де Монэ, в его любимом разлапистом кресле, под меховым пушистым пледом, сидел противный камер-лакей Лёвольд и болтал ногой. Туфли с золотыми пряжками валялись под креслом, мерзавец устроился, подобрав под себя одну ногу, другая изящная ножка в мерцающем шёлковом чулке томно покачивалась. Лёвольд зевнул, прикрывая розовый рот, – сверкнули перстни, качнулись серьги – и лениво мяукнул:

– Тёма, здравствуй, – и, слуге, – что ты замер, человек, ставь болванов на стол.

И эти его тараканьи усы! Первым порывом у Волынского было – схватить ничтожество за шкуру и вышвырнуть вон, и он шагнул было. Но тут явился хозяин дома, в домашнем шлафроке с китайскими синими птицами, обнял Артемия и увёл прочь. А трусоватый соперник, вошь платяная, наверное, сбежал – когда они вернулись в гостиную, в разлапистом кресле никого уж не было, лишь валялся пушистый плед.

Вот этих-то пупхенов и припомнил ни с того ни с сего проклятый Лёвенвольд. Глупая, конечно, история, и для всех троих довольно постыдная.

Хотя де Монэ уже не доведётся устыдиться – через месяц после пупхенов он был арестован, а вскоре и казнён – за амурную связь со своей венценосной патронессой. Были сплетни и о яде, некоей травке, убивающей медленно и неотвратимо – якобы именно такой травкой соби-

рался Демон-Керуб притравить государя (а государь, и верно, помер через два месяца после казни де Монэ).

Патронесса, впрочем, не унывала – спустя совсем немного времени она приблизила к себе Лёвенвольда – так хозяин, у которого издох кот, недолго думая, заводит второго, точно такого же.

Голова де Монэ, залитая спиртом, отдана была в кунсткамеру, и Лёвенвольд, по слухам, ходил смотреть на ту голову, чтобы воспитать в себе осмотрительность. И от страха лишился чувств.

За этот обморок Волынский стал ненавидеть его чуть-чуть меньше, чем прежде ненавидел.

Обер-егермейстер, благороднейший из дворян, господин чистейших кровей, князь, из благородного рода Гедеминовичей – конечно же, Артемий Волынский не следил никогда, чем заняты его слуги. И не обратил внимания на то, что один из гайдуков на его запятках – вовсе не тот человек, который приехал с ним на набережную.

Пока господа объезжали с экскурсией стройку – двое их слуг зачем-то поменялись местами. Лакей Лёвенвольда обменялся шляпами с гайдуком егермейстера – оба они были в тулупах и в гетрах, и никто бы не разглядел, каковы на них ливреи, а вот шляпы с хозяйскими лентами были разные.

Вернулся рассеянный Лёвенвольд – но у этого хоть карета загорись, не заметит, так упоён самим собою – и увёз на запятках егермейстерского подменыша.

Сел в свой возок министр Волынский – и чужой гайдук взлетел на место рядом с новым товарищем позади его кареты, как будто так и надо. И все – кучеры, оставшиеся слуги – как будто и не обратили внимания.

Егермейстер озадачился визитом гофмаршала, но не сильно. «Что он хотел от меня – роли не играет, Лёвенвольд мечется между герцогом и Остерманом, переноса сплетни от одного к другому, как таракан заразу. Не политик, интриган-дворецкий, фигура невесомая, и в расчёт его брать не стоит», – поразмышлял Волынский и выкинул из головы утреннее явление гофмаршала как не достойное внимания.

Другие мысли занимали министра куда сильнее.

Когда Карл Густав Лёвенвольде-первый (к слову, старший брат таракана), царицын любимец, обер-шталмейстер, посланник в Польше, граф и полковник Измайловского полка, изволили скончаться, Артемий Волынский скрепя сердце избрал себе следующего покровителя. Так хозяин, у которого издох кот, недолго думая, заводит себе точно такого же.

Этот его новый, правда, уж точно не годился ни в друзья, ни в братья. Дюк Курляндский, Эрнест Бирон, был морганатический муж русской государыни и прозывался в насмешку ночным императором (после смерти другого её любимца, первого Лёвенвольда, акции *empereur de nuit* мгновенно взлетели).

То был человек низкого рода и средних способностей. Напыщенный и бездарный, дюк Курляндский никак не мог взять верный тон со своими подчинёнными – порою много выше его по рождению – и то грубил, то словно извинялся, и за всю свою придворную бытность так и не выучился как следует врать. Волынский, чтобы сразу установить дистанцию и поддержать трепещущее дюковское самомнение, именовал его в письмах «светлейший герцог, превосходительный господин, господин обер-камергер и кавалер, премилостивый государь мой патрон». И дюк Курляндский надувался от гордости, как жаба на стерне.

За новым патроном тянулась дурная слава. Препежные его протеже умерли, и, как по заказу, оба от яда. Прокурор Ягужинский, прокурор Маслов. Опасно было становиться третьим – под эту руку, неспособную или не желающую защитить. И Волынский сдал бы назад, передумал, но дюк Курляндский вдруг, на одной из их охот, в лесной сторожке, сделал ему предложение – от каких не отказываются.

Он давно мечтал об отставке, этот дюк, герцог Бирон. Мечтал бросить всё, всё, государыню, обер-камергерство своё и отбыть в Польшу, вернее, в Митаву, под польский патронат. Надоело ему всё при русском дворе, и давно надоело, как говорил он, с тридцатого года. Эта возня, собачьи бои под ковром. Может, врал? Но прежде был один такой, Мориц Линар, красавчик-граф, и, по слухам, Бирон вот так же предлагал ему заменить себя возле государыни на амурном поле. Чтобы самому отступить в тень и удрать. Но Линар не справился, не сумел соответствовать и был отставлен.

А теперь герцог, запинаясь и мямля, с трудом подбирая слова, предложил и ему. Помоги мне, Артемий. Ведь сам знаешь, от матушки нашей – только вперёд ногами.

То был флеш-рояль, золотая пуля, в полёте пойманная зубами. Банк в игре. От подобного не отказываются. И он взял, конечно. И потом герцог играючи, двумя пальцами придушил казанское дело, смертным дамочловым мечом висевшее над Волынским со времён царя Петра. Так торговка бросает на прилавок пучок зелени – на сдачу.

А сейчас герцог, кажется, пятится назад. Он злился и ревновал – хотя сам и был автором сего забавного либретто. Волынский с размаху, как в бурное море, погрузился в государственные хлопоты – вместо того чтобы просиживать в герцогской приёмной и делать заискивающие глаза (а в приёмной все сидели только с такими глазами). Как креатура герцога, он получил преференции, такие же, что имели и прежние, прокуроры Ягужинский и Маслов. Каждый день министр докладывал о делах лично государыне, и та слушала его, милостиво улыбаясь, и вроде бы даже что-то понимала.

На этом поле он потеснил первого матушкиного советника, вице-канцлера Остермана, конечно, но более всего – оттолкнул от кормушки собственного патрона. По сути, с недавних пор патрон-пуппенмейстер больше стал Волынскому и не нужен. Зачем им третий, государыне и кабинет-министру, если им интереснее вдвоём? Рокировка свершилась или почти свершилась, задуманная пьеса была почти сыграна. Только герцог... Испугался ли, передумал?

И эта польская компенсация... Русские войска прошли по территории Польши – сначала в одну сторону, потом вернулись и, как говорится, наследили. Не было официально ни убитых, ни ограбленных из местного населения, но все знают, как идёт армия, тем более большая, тем более русская – по чужой земле. Разруха и конфузы неизбежны. Поляки вчинили русскому правительству изрядную претензию, и дюк Курляндский, обязанный Польше герцогским титулом, да что там – безусловный польский вассал, нахально лоббировал выплату компенсации для своих сюзеренов. А Волынский, вместо того, чтобы поддержать решение о польской компенсации в кабинете министров, с пылом и патриотическим жаром внезапно выступил против. Да ещё и помянул во всеуслышание неких господ, чьи личные интересы подчиняют себе отныне интересы государственные. Сдуру, сгоряча влез, понёсся сломя голову, едва не сломавши шею...

Ведь Польша была для герцога – его Элизиум, его Авалон. Он собирался туда отбыть и навеки поселиться – нельзя было их ссорить. Как мог ты увлечься так, чтобы это забыть?

Тут же отыскались охотники доложить об эскападе его высокогерцогской светлости, и герцог во всеуслышание проклял патетически «негодяя, которого сам, на свою голову, вытащил из петли». Патрон злился, боялся – за свою драгоценную Польшу. Возможно, сожалел, что доверился недостойному, и желал бы переиграть их партию – кто знает.

А Волынский сгоряча ещё и помянул, пусть и в узком кругу, постельную грелку, возомнившую о себе. И прозвище мгновенно всплыло при дворе – к вящей злобе герцога. Плохо, когда креатура слишком уж презирает собственного покровителя – это рвётся наружу, это всем видно.

Теперь нужно было исправить всё, поломанное сгоряча, опять повернуть его к себе, дурака патрона. Этого мямлю, тюху, драного кота. И всё-таки переиграть его в итоге – на его же поле.

Санки вкатились во двор княжеского дома. Подменный лакей тут же соскочил с запяток и проворно шмыгнул в людскую. В людской уже поджидал его карла Федот – крошечный молодой человек с лихо закрученными усиками. Этот карла официально приписан был к Конюшенному приказу и в доме Волынских обитал нелегально – очень уж хозяину захотелось оставить при себе модный аксессуар. В ночном, зазеркальном Петербурге известен был Федот как лихой игрок и ловкий разведчик, благодаря долгам своим – за деньги готовый на всё.

– Пойдём-ка, братец, пока тебя не спалили, – прошептал Федот и за руку увлёк лакея в свою каморку.

В каморке лакей уселся на сундук – тулуп распахнулся, и во всей красе показали лифляндские цвета его ливреи. Карла залез на сундук с ногами и в самое ухо лакею принялся докладывать – и говорил он долго, подробно и обстоятельно. Лакей кивал и запоминал, выпучив глаза – от усердия.

– Спасибо за службу, Теодот, – после доклада поблагодарил по-немецки лакей своего осведомителя.

Федот привычно огрызнулся:

– Федот я, курва ты немецкая!..

– Да как угодно... – Лакей вытянул из-за пазухи кошелек. – Это тебе от Плаксиных, пересчитай. И выведи меня поскорее из этого дома.

Хозяин дома тем временем наряжался для явления ко двору. Дворецкий Базиль ловко и с какой-то напористой нежностью разоблачал господина от обычной одежды и переодевал в придворную. Проворные пальцы разглаживали шёлк, взбивали драгоценные кружева, и в каждом отточенном жесте помимо сноровки читалась почти страсть.

Князь Волынский добродушно следил за порхающим вокруг него дворецким и невольно любовался грацией, с которой двигается этот маленький изящный человек.

– Будут ли гости сегодня, хозяин? – вкрадчиво спросил Базиль и улыбнулся углом рта, и раскосые глаза его отчего-то заиграли.

– Будут, если не струсят, – усмехнулся Волынский, – но насчет ужина ты распорядись. Меня они больше боятся, чем тайной канцелярии. Значит, приедут. Знаешь, кого ты мне напоминаешь, когда вот так трясёшь париком?

– Кого, хозяин?

Базиль ловко перебросил в руке тщательно вычесанный, барашком завитой парик и вернул на деревянного болвана. Этот дворецкий ни секунды не стоял на месте, всё переливался и мерцал, как ртуть.

– Лёвенвольда, или Лёвольда, как он себя зовет. Тоже дворецкий, только повыше тебя – в доме её величества. Такая же вертлявая бестия, и глаза подводит, словно они у него косые.

– Вольно ему. Я стыжусь раскосых глаз, а он нарочно рисует, – комично надулся Базиль. – У нас в клубе о господине этом анекдот ходит, да только мне нельзя разглашать – я клятву давал...

– Говори, раз уж начал, – Волынский оглядел себя в зеркалах и остался доволен – ничего лишнего, скромная, как говорится, роскошь. – Мне ты больше клятв давал, нежели этим шалопаям.

– Тут показывать нужно, хозяин... – Дворецкий усадил князя в кресло, накиннул на него пудромантель и придвинул парик на болване. – Что ж, рискну своей честью ради вашей светлости. Не в первый раз... – Базиль надел на господина парик и трепетными пальцами погладил, поправил, прижал на висках – князь прикрыл глаза. – Когда дюка Курляндского, патрона вашего любимого, избрали герцогом – все вельможи принялись его поздравлять. Он сидел, вот как вы сейчас, и все ему целовали ручку.

– Помню, было дело, – усмехнулся Волынский.

– А господин Лёвенвольд поцеловал его руку – вот так...

Базиль выудил из-под пудромантеля холёную хозяйскую руку и прижался к ней губами. Князь вздрогнул – дворецкий провёл языком по его коже и легонько прикусил.

– И кто такое рассказывает? – расхохотался Волынский.

– Кейтель, дворецкий сиятельной милости. – Базиль как ни в чем не бывало оторвался от княжеской руки и сдёрнул с хозяина пудромантель. – Ваша светлость готовы к выходу, можете блистать и пленять.

– Врёт твой Кейтель, пёс немецкий, – задумчиво проговорил Волынский с тихим гневом в голосе. – И ты напрасно поверил. Как мог он видеть? О подобной шутке обычно ведают только двое. И потом, нужно знать хоть немного моего любимого патрона, как ты его называешь. Я сам однажды просто взял его за руку, как друг – так он выдернул руку и весь затрепетал. – Тут князь зло хохотнул, заведя глаза. – Я думаю, Лёвенвольда он бы и вовсе за такое ударил...

Дворецкий посмотрел на господина лукаво, тонко улыбаясь, и азиатское лицо его с высокими скулами сделалось таинственным и прекрасным, как у Будды.

– Что ты улыбаешься? – спросил Волынский, закипая.

– Ты не ударил меня, хозяин, когда я показывал, – прошептал Базиль, поклонился нарочито раболепно и отошёл. – Вы готовы, можете пожаловать ко двору, – повторил он певуче и нежно.

– Да слышал, не глухой, – уже беззлобно огрызнулся князь и поднялся с кресла. – Если гости явятся прежде меня, прими их, знаешь, что делать.

Эрнст Иоганн фон Бирон, герцог Курляндский и Земгальский, вихрем влетел в гардеробную – этот господин был замечательно порывист и стремителен. Не дожидаясь камердинера, герцог снял и побросал на пол своё охотничье, завернулся в парчовый серебристый халат и наощупь нашарил на полу домашние туфли. Незанадобившийся камердинер выкатил было манекен с придворным облачением, драгоценным, рыбе-мерцающим, но герцог лишь отмахнулся:

– Потом, потом...

И вышел вон.

Он молниеносно, по-над паркетом, промчался сперва по своим покоям, потом по смежным, императорским. Знаменитый серебристый герцогский халат сиял для некоторых, как огонь на вершине маяка, кто-то спрятался, а кто-то, напротив, выступил из тени на свет, надеясь быть замеченным. Вотще... Так же мало замечает вокруг себя несущийся по лесу кабан. Герцог летел, как фурия, в серебристом сиянии, в облаке горьких духов, и пудра нимбом взлетала над зеркально-чёрными локонами. Скорее, скорее...

Есть такие люди, с которыми довольно поговорить пять минут, и потом уже достаточно сил целый день переносить остальных – льстецов, глупцов, подлецов, многодетных отцов... Есть такие люди, на которых довольно взглянуть, убедиться, что они вообще есть, – и можно жить целый день, до вечера, в относительном спокойствии, и как-то терпеть эту жизнь, не желая пустить себе пулю в лоб. Ах, его светлость так счастливы, так счастливы, что постоянно хочется выстрелить себе в голову...

Герцог остановился перед низкой дверью позади концертной залы, выдохнул, постучал и вошёл, не дожидаясь ответа.

– Доброе утро, ваша светлость.

Хирург обер-гофмаршала, доктор Бартоломеус Климт, поднялся из кресла и поклонился.

– Здравствуй, доктор!

Герцог обвёл взглядом эту комнатку, гофмаршальскую гардеробную – где же сам хозяин? А вот и он, на козетке, под пышным соболиным пледом, с корпией в носу, бледный до зелени. Спит.

– Спит? – понизив голос, прошептал герцог.

Климт кивнул, указал глазами на пузырьёк посередине ломберного колченогого столика. Лауданум, водка с опиём, и пузырьёк наполовину пуст – тут уснёшь. Впрочем, кто знает, сколько теперь ему нужно, с его дурными пристрастиями?

– На катке кровь носом пошла, – пояснил доктор, – пришлось уложить, пусть подремлет хоть пару часиков, до очередной своей оперы.

Этот доктор Климт не лебезил, не сыпал «светлостями» и «высокопревосходительствами», он был дельный и нахальный и за хозяина готов был убить. И уже, поговаривали, убивал. Рыжий, бледно-зеленоглазый, Климт улыбался, сжимая челюсти – кицунэ, рыжий лис, демон-оборотень. Да гофмаршал так и звал его – братец лис.

– Доигрался! – Герцог уселся в кресло, в то самое, из которого только что вскочил Климт, склонился, взял больного за руку. – Как лёд. Доигрался в свой опийный табак. Ты хоть скажи ему, доктор. Мы слишком старые для таких игрушек.

Доктор поглядел на него, вернее, на них двоих – на герцога, в дрожащих пальцах сжимающего бледную руку гофмаршала, и на самого гофмаршала, спящего, как дитя, в детской позе с подобранными коленями, белого, как фарфор, в смазанных стрелках.

– Ваша светлость, мне нужно спуститься за льдом для компресса, как лучше – кликнуть лакея, или вы изволите дожждаться? Я не желал бы бросать его одного.

Он говорил с герцогом, как с равным. Это умиляло. Смелость не может не умилять, когда ты сам – главное чудовище, первый изверг двора.

– Ступай, доктор, я тебя дождусь, – позволил герцог.

Доктор поклонился и вышел. Герцог остался сидеть, с холодной рукой в своей – горячей, как от жара. Он и жил свою жизнь – как в лихорадке, в тумане, в красном мороке горячечного бреда, который уж год. Наощупь, раг соеиг. Он смотрел на больного – как дрожат ресницы, как вздымается от дыхания тонкое испанское кружево. Не потерять бы... Есть люди, на которых довольно только взглянуть – и уже можно жить, до самого вечера, и не желать при этом повеситься. Вернее, есть один такой человек, и, кажется, он тоже вот-вот – того...

Доктор скоро вернулся с мешочком льда, как и обещал. Герцог поднялся из кресла – серебром облитая статуя.

– Передай графу, как встанет, что завтра я жду его на обед. Нам с ним сегодня не свидеться, день мой до ночи расписан.

В манеже, позади лошадиных чертогов, – а именно так следовало бы именовать обиталища герцогских лошадей, – позади комнат конюхов и чуланов со сбруей, в крошечной каморке сидел Цандер Плаксин и принимал посетителей. Каморку эту он иронически именовал своим кабинетом, хоть и писать приходилось ему на перевернутом барабане, а сидеть – на старом седле, положенном на низкие козлы.

Сейчас Цандер выслушивал давешнего подменного лакея – того самого, что болтал с карлой в доме Вольнского.

– Вчера гости были, – докладывал лакей, – и сегодня опять ждёт. Все те же люди. Вчера разговор вёлся о записке, называемой «Представление». В записке советы известной особе...

– Какой? – уточнил быстро Плаксин. – Женского полу или мужского?

– Женского, – отчего-то смутился докладчик, – как империей управлять. И заодно ябеда на трёх злодеев – Остермана, Головина, Куракина. Правда, имена их не названы, но портреты узнаваемы весьма. Теодот мой слушал – сразу понял, о ком речь. И ещё – о герцоге речь, если поразмыслить...

– Всё тебя тянет поразмыслить, Кунерт, – вздохнул Плаксин. – Живи как птица. Пари и гадь, – продолжил он неожиданно свою мысль.

– Так и выходит, – мрачно отвечал Кунерт. – Моя сиятельная милость сожрёт меня, если узнает, чем я с тобою занят.

– У него так широко рот не откроется, – утешил Плаксин. – Были ещё разговоры?

Лакей опять отчего-то зарделся.

– Теодот показывал, что дворецкий у князя не просто дворецкий, а ещё и...

Он сделал непонятный округлый жест и цокнул, как белочка.

– Это нас не касается, – отмахнулся Плаксин, – каждый грешит, как ему угодно. Спасибо, Кунерт, свободен, заходи ещё.

– Следующий?

В дверь просунулась кудрявая голова, почти точно такая же, как у Цандера.

– Волли! – воскликнул Цандер. – Отчего ты здесь, не с патроном?

Кунерт кивнул обоим и пулей вылетел из так называемого кабинета – он отчего-то очень боялся Волли Плаксина.

– Меня сменили на час-другой, пока патрон за картами.

Волли Плаксин вошёл и сел на барабан. Он был такой же тощий циркуль, как и брат его Цандер, с таким же неприметным, словно стёртым лицом. Они были близнецы, но разные, и никогда никому не признавались, кто из них старше. В прошлом пажи Курляндской герцогини, они сделали блестящую карьеру, если, конечно, не терять чувства юмора – Волли вырос до начальника охраны дюка Курляндского и личного его телохранителя, а Цандер... Цандер был его главный шпион. Злые языки ввали о братьях, мол, они начинали свою карьеру, сидя в печной трубе (ну да, чтобы подслушивать, недаром же они оба такие тонкие и длинные), но ничего подобного. Плаксины, или, по-немецки, фон Плацены, в трубах не сидели, доверяли эту честь своим подчинённым. Зато великолепно умели делаться невидимыми в кружевных тенях, ходить бесшумно и читать издали по губам.

Цандер Плаксин даже побывал как-то раз с дипломатической миссией в Польше – старшему графу Лёвенвольду нужен стал для его дел такой шпион, читающий по губам, и господин фон Бюрен (так звался тогда нынешний дюк Курляндский) одолжил дипломату своего подданного. Да, Цандер повидал на своём веку – и мир, и людей, и великие свершения.

– Ещё ждёшь кого? – спросил Волли, лениво потягиваясь и делаясь ещё длиннее.

– А как же. Балетница Крысина, из труппы господина Арайи. Полночь уже – а она никак не изволит.

– Занята-с, – усмехнулся Волли, – как закончит – так и доложится. Я уходил – они только отплясали, и к ней за сцену генерал один рвался, сам знаешь, какой... – Волли закатил глаза. – Наш безутешный вдовец.

– Что ж, подождём, – вздохнул Цандер. – Мне еще из их галиматыйи экстракт выводить. Как раз утром отчитаюсь – и лягу спать до трёх.

– Прикрою тебя, – пообещал Волли.

Братья переглянулись – два чёрных одуванчика – и одинаково рассмеялись.

3

Леталь, куколд и ведьма

Доктор Яков Ван Геделе проснулся – и от того, что печка остыла, и от того, что запахло блинами. Золотистый, маслянистый, словно бы пухлый запах разом напомнил, где он ныне очутился и пребывает.

В Варшаве по утрам в их доме пахло сгоревшими зёрнами кофе, корицей, ванилью и, если ссора вчера была, то валериановыми каплями. Жена отчего-то любила ссориться с ним на ночь, а поутру садилась за стол молочно-бледная и укоризненно накапывала в рюмочку эти валериановые капли, словно мужу в назидание...

Доктор накинул халат и вышел в столовую. Да, гора блинов высилась, объятая паром, и рядышком уютно пыхтел на спиртовке чайник. Слышно было, как в прихожей кучер Збышка вдохновенно торгуется с каретником. Получается, что к вечеру будет и карета. На первых порах из крепости посулили прислать возок, – доктор взглянул на часы, и из часов, как по заказу, со скрипом свесилась кукушка, – десять, выходит, уж через час.

Прежде чем садиться за стол, Яков заглянул в комнату к дочке. Оса спала, вся под одеялом, с головой и пятками – холодно. Доктор не стал будить, пожалел. Вчера набегались, накапались, пусть спит. Тяжкий денёк был вчера, но вроде выстояли, отбились.

Он ведь забрал вчера дочку вовсе не из приёмной господина Окасека. Оса и авантюрная лейб-художница Аделина Ксавье обнаружили, наверное, в самом опасном месте на свете, практически в логове зверя. И в компании зверя... Вот странная есть у русских поговорка – не так страшен чёрт, как его малютка... Доктор отлично знал из писем бывшего своего патрона, что за дрянной человек этот мальчик, Карл Эрнест фон Бирон. Обер-гофмаршал своих детей не завёл и о чужом писал безжалостно – дурачок, капризный, в папашу, истерик, не видящий берегов, жестокий озорник... Доктор застал свою дочь в зимнем саду герцогов Курляндских. Дворцовая контора примыкала крылом к тем покоям. Дети, Оса и опасный Карл Эрнест вдохновенно расставляли силки для тамошних попугаев и туканов, и легкомысленная дура Ксавье им помогала, в компании ещё одного дурака, бироновского наёмного гувернёра. Какое безумие – играть в лесу, где обитают львы, со львёнком! Когда в любую минуту за детёнышем могут явиться лев или львица. И еще ведь неизвестно, кто хуже: громокипящий злобный герцог или же его прохладная и скользкая, как шёлк, змея-супруга. Доктор поспешно увёл дочь и столь сердито нашипел в коридоре на дуру Ксавье, что та едва не расплакалась. Но потом проглотила слёзы и внезапно сказала:

– Ваша дочь очень талантлива. У неё от природы поставлена рука – лучше, чем у нашего Луи Каравака.

Каравак был придворный портретист, совсем не умевший изображать человеческую голову. Все, понимавшие в рисунке, над ним смеялись, но невежды-царедворцы всё равно у него заказывали.

– Сложно рисовать хуже Каравака, – улыбнулся доктор, уже коря себя за недавний гнев.

– Я могу взять Осу в ученицы, мне по штату положен ученик. А ученику – положено жалование. Я прежде всё никак не могла никого выбрать. Здесь никто не может рисовать. И мой начальник, обер-гофмаршал, меня ругает – не может он спокойно смотреть, когда жалованье положено, а некому его получать.

– Не мала она для вас? Осе девять, она просто очень высокая.

– Я в восемь начинала, с Гизельшей. Может, помните такую? Писала акварели на стенах Кунсткамеры.

Доктор помнил Гизельшу. Они даже ужинали когда-то вдвоём в его доме, Балкша, Гизельша, две подруги, колдунья и художница. Как же причудливо тасуется колода!..

– Ты хочешь? – спросил он дочку.

– Хочу!

Ещё бы – жалованье и возможность глазеть на богатых заказчиков, которых наверняка изрядно.

– Я пригляжу за Осой, никуда её от себя не стану отпускать.

Ксавье как будто прочла его мысли. Неудивительно, после такого дня уже всё, наверное, написано было на лице. У девицы Ксавье были козы серые глаза, широко разведённые, с золотыми ресницами, с разрезом, изящно приподнимающим внешний уголок.

– Вам прежде говорили, что у вас глаза – как у женщин с полотен Кранаха? – вдруг спросил доктор.

Оса топнула ногой:

– Папа!

– Не говорили, но я сама видела. Женский портрет кисти Кранаха висит в доме графа Остермана. Я расписывала в его доме плафоны.

– За стол садитесь, благородие, вон блинчики-то стыннут!

Это Лукерьюшка своим приглашением словно за шкуру выдернула его из воспоминания о прекрасных глазах Аделины Ксавье. И поделом...

Доктор уселся за стол, накрыл колени салфеткой. Лукерья, высокая, конопатая, полная бабёха тридцати лет, налила для него чай, постреливая глазами. Вот чучело!.. Яков Ван Геделе подумал, что и жена его прежде, до Варшавы, тоже звалась Лукерья, и только потом уж стала – Лючия. И было бы ей сейчас двадцать пять, поменьше, чем этой... Та его Лукерья тоже была высокая, словно золотой пудрой, обсыпанная веснушками, но тонкая в поясе и с такими длинными ногами, что они начинались, казалось, от самой талии. Она пела в церковном хоре, да так, что из Кракова приезжали слушать. Она плакала по утрам бог знает о чём, и птичкой порхала на балах, и рисовала в альбомах золотых канареек и золотых же принцев, и умела очистить мандарин, коготками раскрывая его, как розу, и легко выучилась и польскому – о, абсолютный слух! – и верховой езде, и игре на клавикордах. И всё напевала ту песенку, грустную, старую, арестантскую, выдавая себя, вернее, попросту не желая забыть, что всё ещё любит, отчаянно и безнадежно, другого.

Разложила девка тряпки на полу,
Раскидала карты крести по углам,
Позабыла девка – радость по весне,
Растеряла серьги-бусы по гостям...

Она умерла три месяца назад, от дифтерита. И, слава богу, что от дифтерита – не смогла произнести напоследок, перед смертью, то самое имя, его имя, проклятая влюблённая дура!..

Так что имя Лукерья и веснушки, увы, не прибавляли новой прислуге шансов.

– А доча-то ваша, благородие, поутру к соседу ушла, – со степенным спокойствием поведала прислуга, любовно переставляя на столе молочко и варенье.

– Она же спит!

– То одеялко лежит, и под ним – подушечки, – ухмыляясь, выдала Лукерья, – а доча-то гуляет.

– Так что ж ты молчала, дура!

«Уволю! – злобно подумал Ван Геделе. – Лукерьюшка, почтеннейшая... почтеннейшая дурица!»

Доктор вскочил из-за стола, отбросив на пол с колен салфетку, и, как был, в тапках, в халате, собрался было бежать за дочкой к соседу, кату Аксёлю. Входы у них были отдельные, нужно было бы выйти с крыльца и перебежать по снегу на крыльцо соседнее...

– Папенька, папенька, пойдёте со мной, поглядите!

Оса встала в дверном проёме, не заходя, и поманила папеньку за собою. В прежнем своём мальчишечьем, с заплетённой по-мальчишечьи косой, с красными щеками и с невинным видом – ну, как всегда.

Яков пальцем погрозил прислуге и пошёл за дочкой в коридор – чтоб не при Лукерье её ругать. Плутовка Лукерья усмехнулась, повела плечами, закатила глаза и, почти не таясь, взяла со стола баранку – всё равно барину дела нет.

– Ты зачем к дядьке Аксёлю бегала? – строгим шёпотом уже в коридоре напустился на Осу доктор. – Он мужчина, одинокий, бог весть что в голове...

– Папенька, я вовсе не бегала, я...

– Лукерья сказала мне, что ты у соседа.

– Да нет же, нет, вот, глядите же, глядите...

Оса тянула его по коридору, туда, где кладовка, и комната слуг, и эта, швабёрная, как назвал её вчера Аксэль, та, где швабры. И комнатка Збышки, и горшок ещё один, то есть ведро, и забитая гвоздями дверь к соседу, но она вчера заколочена была, и Аксэль говорил, что гвоздями забито...

– Что, открыта оказалась? – догадался Яков.

– Да нет же, глядите!

На стене висел бездарный, плешивый ковёр с лебедями, явно каторжанки плели. Пыльный, толстый, тяжёлый. Оса отогнула пылью пахнувший край ковра, поднырнула под него и папеньку утянула за собою. Папенька чихнул и позволил себя увлечь.

За ковром оказалась каморка, совсем крошечная, с двумя стульями и всё, и освещённая единственным окном. И окно это выходило – вот странно! – в комнату, жилую, с диванчиком, столом и картиной.

«Да это ж Аксёлева гостиная! – догадался Ван Геделе. – А окошко наше – зеркало в его комнате, выходит, мы сейчас за зеркалом у него...»

Вчера он на минуту забежал к соседу, и зеркало это, неожиданное, большое, господское, небывалое в бедной катовой гостиной, очень хорошо запомнил. И они с Осой сейчас стояли позади Аксёлева зеркала, в тайной комнатке, впрочем, вряд ли такой уж тайной, вон и Лукерья знает, оттого и смеялась...

Возок за доктором прибыл ровно в одиннадцать и резво по утреннему снежку долетел до крепости. В России, как знал уже доктор, издан был высочайший запрет на стремительную езду, и нарушать сей запрет доставляло возницам небывалое удовольствие – все сани, даже самые зачуханные, носились по улицам стрелой.

Осу забрала с собой художница Ксавье, заехала за ученицей ещё прежде, чем прибыли к доктору из крепости. Сегодня девице Ксавье предстояла работа у князей Волынских, и Ван Геделе был за дочку относительно спокоен. По прежним письмам от обер-гофмаршала он знал и Волынского, вдового князя, и его дочек, красивых и добрых – гофмаршалу Лёвенвольду, видать, частенько нечем было заняться, он много доктору писал, и в двух или трёх словах мгновенно очерчивал абрисы тех, о ком рассказывал, ядовито или нежно. Доктор не знал, чем приглянулись княжны Волынские его корреспонденту, но запомнил их портреты – написанные злочкой гофмаршалом с неожиданной симпатией.

На входе в крепость доктора поймал давешний красавец Мирошечка, взволнованный, аж зеленоватый от нахлынувших чувств – так на смуглой его коже отражалась бледность.

– Ай, доктор, вовремя! – Мирошечка в коридоре подхватил доктора под локоть и, не дав ни опомниться, ни отдышаться, бряцая ружьём, потащил вверх по лестнице. – В пятой-бэ распопа хвораэ...

«Распопа – это расстрига», – понял Ван Геделе.

– Здорово хвораэ? – спросил он, машинально подделавшись под мирошечкин стиль.

И тот ответил, уже ключом отпирая камеру:

– Помираэ...

В камере лежало на нарах шестеро, вернее, пятеро полулёжа играли в карты и, как дверь открылась, кое-как карты попрятали. А один, в сторонке – помирал. Доктор наклонился над ним, ещё не трогая, потому что вши, чесотка, и прочие острожные прелести. Просто смотрел.

Серая, почти чёрная кожа шла разводами, как муар, и была одним цветом с поповской рясой, – распопа остался верен прежнему поповскому гардеробу. И волосы выпавшие, прядами, вокруг головы на рогоже, и запах чеснока, от кожи, от волос, от всего. Яд мышьяк.

– Крыс не травили в последние дни? – спросил доктор Мирошечку, любопытно тянувшего шею из-за его плеча.

– Не-а. Мы не травим, у нас котов – аж восемь. На них паспорта выписаны, как на людей, и жалованье ежемесячно платится, – выдал болтун-гвардеец тюремную тайну.

– Странно. Где ж он тут яда хватанул? Или уже таков прибыл...

– Ван Геделе, выйди! – крикнули от двери. Доктор оглянулся – в проёме стоял Аксэль, головой почти упираясь в притолоку. Он был, как и вчера, в партикулярном, но поверх одежды повязан был кожаный живодёрский фартук. – Выйди-выйди, доктор Ван Геделе, – повторил кат громогласно. – Этот больной, он не тебе. Мирошка, затвори за нами!

Ван Геделе послушно вышел от распопы, к Аксэлю в коридор, и Мирошечка задорно загремел ключами у него за спиной, запирая камеру.

– Это не тебе, – сказал ещё раз кат. – Те, кто в камерах, подлежат осмотру только после мемории от Хрущёва. Он должен тебя направить.

– Так помирает...

– Пускай! – разрешил Аксэль, увлекая доктора за собой по коридору, словно ребёнок взрослого, прихватив за карман. – Как погрёт, тогда и позовём тебя, для протокола. Разве ты не знаешь, как тюремный лекарь работает?

Возле двери, обитой железом, стояли два гвардейца, и как всегда – курили, хохотали. Что-то весёлое всегда было у них, видать, наготове. Аксэль толкнул дверь, пропустил доктора:

– Прошу, но на минутку. Не трогай ничего и никого! Это тоже не тебе.

Эта комната была – пытошная, жарко натопленная, пропахшая кровью, рвотой и палёным волосом. В одном углу тлел огонь, бросая на стены живые шевелящиеся тени. Здесь же с потолка свисали две цепи, замаранные кровью, но, слава богу, пустые. В другом углу сидел за столом хорошенький востренький канцелярист и старательно писал, закусив губу. И на лавке перед канцеляристом валялся арестант – он и был, наверное, то самое, что «Ван Геделе, не тебе». Потому что был избит, и с кровью из носа, и с вывихнутым плечом – так бережно придерживал он его другой рукой.

– Половинов, пойдём с нами, – позвал канцеляриста Аксэль. – Доктор прибыл, поп уходит. Пора, мой свет. Дохлятинку в камеру и айда!

– Мы как раз кончили,... – Канцелярист Половинов поднял от писанины туманные глазки. – Только он не подпишет, не может, ты его поломал. Ничего, копиисту пойдёт и так... Идём, мой свет. Ребята, унесите!

Аксэль, доктор и Половинов покинули пытошную прежде, чем ребята принялись уносить.

«И слава богу!...» – в который раз подумал доктор.

Половинов прихватил с собой поднос с пером, чернильницей, песком и бумагой и нёс его бережно, в вытянутых руках.

– А где твои орудия? – спросил он Аксёля. – Или с голыми руками идёшь?

– Воот. – Кат поиграл между пальцев шёлковым шнуром, сделал кошачью колыбельку и тут же распустил её. – Воот.

– Что мы делаем? – спросил недоумевающий Ван Геделе у обоих.

– Казнь, – пояснил для него Аксэль. – Деликатная, без пролития, по секретному распоряжению Синода. Приговор вчера прошёл, казнь на сегодня. У нас все экзекуции проводятся в восемь пополудни, по регламенту...

– Как и в «Бедности», – припомнил доктор.

– Видишь, знаешь. Но тут лютеранин, а лютеранский поп у нас придворный, он поздно прибывать изволит, соня. Я и за тобою попозже прислал – что попусту сидеть, если поп задержит. Вот мы и на месте. Поп ещё там?

Аксэль спросил это у единственного солдата, стоящего перед дверью камеры.

– Там, – кивнул солдат.

– Болтушка, – нежно сказал про попа Аксэль и повернулся к доктору. – Ты не заходи с нами. Мы кликнем, и – зайдёшь. Это тяжко поначалу, мой свет...

Доктор машинально кивнул. Он слушал два голоса из-за двери, оба воркующие, жалобные, и всё пытался понять, чей из них – чей. Который – пасторский, а который – жертвы.

– Не слушай, – сказал Половинов, – не утруждайся. Пастор потом отчёт нам напишет, и там всё будет.

– А тайна исповеди?

– Пустоэ, – в духе Мирошечки отвечал Аксэль.

Видать, греческая манера «экать» оказалась для всех заразной.

Дверь клацнула, вышел поп. Он был молодой, но уже лысый, с неуместно нарумяненными щёчками. Поп наклонил голову, приветствуя господ у двери, и тут же почти бегом побежал по коридору прочь.

– Создание нежное, гордое, – определил попа Половинов.

– Бироновский поп, – пояснил для доктора Аксэль, как будто это должно было всё про попа рассказать, – дюков исповедник. Мы идём, и мы кликнем тебя, Ван Геделе.

Конечно, они его кликнули. Потом, когда всё было кончено. Доктор потрогал мёртвому шею, с усилием прикрыл его выпученные глаза – как-никак, удавленник. Половинов подошёл со своим канцелярским подносом:

– Подпишись. Вот тут, где галка.

Доктор расписался.

– Всё. – Половинов присыпал песочком густо исписанный лист. – Свободен, мой свет. Можешь домой отправляться.

– А больные?

– Это не тебе, – в который раз повторил Аксэль, целомудренно прикрывая мёртвого рогожей. Видать, Ван Геделе слишком уж на него тарашился. – Тюремный доктор не лечит. Ты разве не понял? Вы и зовётесь у нас – Леталь-первый, Леталь-второй... Ты, выходит, будешь Леталь-третий. Нет, если арестуют какую персону, может, тебя призовут и лечить. Но при мне подобного не было. Трупы вскрывали, это да... – Аксэль задумался, вспоминая, мечтательно вздохнул, потом встрепенулся, словно стряхнув с себя ностальгию. – Нет, наши доктора, конечно, не дёргают висельников за ноги, но они и не лечат. Леталь, понимаешь? Ле-таль.

Доктор спустился на улицу. Снег после крепостного полумрака показался ему столь ярким, что заслезилась глаза. Дымок, завиваясь, летел от кухонных труб, и дровни проехали, теряя по пути сено. Кошка с аппетитом вылизывалась в снегу, акробатически задрала ногу, и воробьи дрались над конскими яблоками. Солнце играло в сосулях...

– Так хорошо, и ненадолго забываешь, что в аду...

Недавний бироновский поп, уже в бобровой шубке и в пуховой шляпе, тоже стоял на крыльце и пальчиком улавливал брызги, падающие с сосуллек. Доктор присмотрелся к нему, прищурясь на ярком свете, и вдруг увидел, что пастор плачет – светлые слёзы бегут и бегут из глаз его, смывая румяна.

– Напьюсь, падре? – предложил ему доктор. – Или вам нельзя?

– Нам нельзя, – согласился поп, но тут же продолжил: – Я в мирское переоденусь, и станет – можно. И мы поедем с вами, тюремный новый доктор, и пить, и даже играть. Потому что иначе я просто вытошню своё сердце.

Оса принялась любопытствовать ещё по дороге, в санках.

– А вы, Аделина, обер-гофмаршала видели?

– Конечно, видела, он ведь мой начальник, – несколько удивилась вопросу девица Ксавье.

– И он в самом деле такой-растакой красавец?

– Красавец, – согласилась художница, – но превредный. Да вы и сами его увидите, и скоро. Непременно.

Оса решила – раз увидит, то и нечего дальше выспрашивать, и начала про другое.

– А что мы будем рисовать – опять птичек?

– Нет, Анна Артемьевна не столь прихотлива, у неё всего лишь цветы на плафоне.

– Цветы я умею, – обрадовалась Оса.

– Вот и попробуйте. Если что, я подправлю. А давайте на «ты»?

Оса на радостях кивнула так скоро, что прикусила губу.

В доме Волынских девицу-художницу уже ждали. В комнате, предназначенной для росписи, прислуга укутала тряпками мебель и застелила мешковиной драгоценный наборный паркет. Несмотря на раннее утро – не было ещё и полудня – заказчица, Анна Артемьевна, явилась взглянуть на эскизы.

То был неожиданный сюрприз для Осы – не успели они с мадемуазель повязать на талии передники и волосы прикрыть косынками от краски, как в комнату прибежала девчонка, всего-то года на два старше Осы, и Аделина поклонилась ей по-мужски (глупо ведь приседать, когда ты в штанах):

– Доброе утро, Анна Артемьевна! Раненько же вы – я думала, ваша милость ещё в объятиях Морфея.

– Ваша милость ранняя пташка! – рассмеялась девочка.

Она была золотая и белая, как молоко и мёд, с чёрными глазами, высокая, полная, вся перетянутая голубыми лентами, где надо и где не надо. Оса на одном домашнем чепце насчитала одиннадцать бантов.

Аделина раскрыла папку с эскизами, и Анна Артемьевна, совсем как большая, стала перебирать листы, оставляя французские глупые комментарии. На Осу она и не глядела – это было обидно. Оса уселась на стул, принялась болтать ногами.

– А папенька ваш – он тоже пташка ранняя? – осторожно и почтительно спросила хозяйку Аделина.

– Папенька – нон! – опять рассмеялась Анна Артемьевна. – Он-то поживает, и до трёх пополудни. Вчера охота была. Но дворецкий рассчитает вас, не беспокойтесь. А отчего ваш мальчик так на меня глядит – как волчонок?

– Этот мальчик – девочка, Анна Артемьевна... – начала было Аделина.

Но тут в комнату заглянула ещё одна девочка, почти такая же, как Анна Артемьевна, в таких же лентах, но разве что постарше:

– Нюточка, кататься!

– Ах, Машечка, да!

Юная хозяйка мгновенно потеряла интерес к росписи, бросила этюды в руки Аделине и убежала.

– Сколько им лет? – мрачно спросила Оса.

– Княжнам? Четырнадцать и двенадцать. Они сами выбирали рисунок на плафон, но заплатит нам дворецкий, – пояснила художница. – Ты сразу его узнаешь, такой раскосый щёголь. Вот при нём только – так не дуйся. Ты так смешно ревнуешь – совсем как его светлость Карл Эрнест...

Оса не ревновала, она толком не смогла бы объяснить, что чувствует. Вот есть девчонки, но живут, как большие – едут кататься, выбирают рисунок на плафон, повелевают художницами, а папенька платит. А есть те, кто ну никак, никак... Максимум достижений – право носить мужские штаны.

Аделина забралась по лесенке под самый потолок, и Оса изнизу опять ей подавала – краски, кисти и тряпку. Благородное сфумато ведь делается именно тряпкой. Потом они поменялись местами, и Осе дозволено было изобразить единственную розу. Оса пыхтела, вся обляпалась краской, но роза вышла хороша, разве что чуть грубовата.

– Я растушую, – пообещала Аделина, – а ты поймай лакея и попроси принести нам воды, мы всю истратили.

С пустым ведёрком Оса вышла из комнаты, огляделась в коридоре – увы. Когда они прибыли, слуги так и вились вокруг, а сейчас, как назло, не было ни одного. Дом стоял, как будто пустой и сонный, весь просвеченный, пронзённый солнечными лучами – переливался шёлк обоев, играл фарфор, масляно блестели тяжеленные рамы вокруг сумрачных фамильных парсунов, ещё, наверное, времён царя Василия Шуйского.

«Сама возьму, – подумала Оса, – на кухне».

Она пошла по коридору, поигрывая пустым ведром, под неодобрительными взглядами лупоглазых портретных Гедеминовичей – к лестнице. И – нечаянная радость – за портьерой разглядела слугу, коренастого мальчишку в ливрее, отчего-то присевшего на корточки.

– Эй, любезный! – Оса зашла за портьеру и встала над ним, по-прежнему играя ведёрком.

– Цыц! – слуга резко притянул её за передник, усадил возле себя и повторил своё непонятное. – Цыц! Не замай...

Оса не настолько знала по-русски, чтобы понимать эти его «цыц» и «не замай». Она присела, заворожённая, рядом за портьеру, пристроила у ног ведёрко. Приключение... У мальчишки обнаружили на лице усы, бодро закрученные кверху.

«Карла!» – радостно подумала Оса.

Карлы, как и пони, ей безотчётно нравились, вредные, злые, но такие миленькие.

Она хотела спросить – чего ждём-то? – как в коридоре послышались шаги, и двое мужчин прошли мимо портьеры в комнату – Оса видела изнизу их туфли, шёлковые гладкие чулки и перевёрнутые бутоны расшитых кафтанов. Кавалеры расселись в кресла, и тотчас с козым цокотом прискакал дворецкий на каблучках и на таких изящных кривоватых ножках, с какой-то звонкой тележкой. Оса по тележке и догадалась, что это дворецкий.

– А... – спросила она было, и карла ладошкой закрыл ей рот.

– Т-с-с! Конфиданс...

– Как усердно ни служи, есть потолок, которого головой не прошибёшь, – сердито проговорил один из сидящих в креслах. – Можно сколь угодно нежно и длительно вылизывать светлейший афедрон, и всё равно проживать беспросветно в деревянном жалком домишке. А можно всего лишь уродиться братом светлости и, по слухам, даже не родным, а сводным, как наш генерал Густав, – и дом у вас уже имеется каменный, с великолепными чёрными колоннами...

Оса привстала, чтобы увидеть говорящего целиком. Он был похож на портреты Августа Сильного – ямка на подбородке и очень много бровей. Или ещё – таким мог бы быть повзрос-

левший и пополневший бог Ганимед с одной варшавской картины. Этот господин говорил несомненные гадости, но улыбался, их произнося, и ямки играли на его щеках, и весь он мерцал и играл, словно поющая сирена, и поневоле чудилось, что говорит он всё-таки хорошее.

– Как архитектор я утешу тебя, – отвечал ему собеседник, он сидел, закинув ногу на ногу, к портьеру спиной, и Оса видела лишь, как покачивается в воздухе туфля, – Чёрные колонны генерала Густава – образец безвкусного уродства. А дерево или камень – так материал не показатель роскоши, брат Волинский. Анненхоф и здешний Летний деревянные, а оба они несомненно хороши. И у тебя язык не повернётся обругать лёвольдовский дом, что на Мойке – а он ведь тоже деревянный. Но – стиль, стиль!.. И дьявол Растрелли...

Оса подумала, что приключение приключением, а вот сейчас Аделина соскучится и пойдёт её искать – и найдёт, за шторой со шпионом. И будет ой как стыдно!..

По счастью, дворецкий процокотал по коридору – туда, оттуда – и возгласил:

– Сани поданы, ваша милость! Прошу!

Господа поднялись из кресел, и тот, завистливый, сказал:

– Поедем, поглядим на ледяную игрушку, брат Еропкин. Оценишь, много ли наврали в сравнении с твоим чертежом. Вчера Крафт отчитался по фигурам, сегодня твой черёд. Базилька, подавай шубы!

Все трое ушли – два больших впереди, дворецкий следом, как собачка. Оса встала с корточек и повернулась к карле:

– Будь добр, набери для нас воды. Для нас – это для художниц.

Карла тоже поднялся, подкрутил весёлые усики и покладисто принял ведёрко.

– Как скажешь, милая. Подам воду к вам, в художничью. Со всем моим почтением.

Может, и напрасно Оса считала карликов вредными и злыми...

– Про то, что видала – молчи, или голову оторву! – прошипел быстро карла, оскалил напоследок острые жёлтые зубки и с ведром убежал.

Нет, не напрасно Оса так считала – всё-таки вредные они и злые.

Правда, воду он принёс, очень скоро, втащил ведро за дверь и поставил с почтительным поклоном.

Чувствительный бироновский пастор – фамилия его была Фриц – сперва, в карете, всё жаловался доктору.

– Я почти каждый вечер выслушиваю исповеди моих высочайших греховодников, – говорил он, стирая платком отчаянные слёзы, – а на другой день приходится наблюдать, уже в крепости, плоды высочайших злодеяний. Исповедовать уже тех, кого обрёл мой патрон, протягивать крест для последнего поцелуя.

– Не всех, – поправил педантичный доктор, – только лютеран. То есть от жертв примерно половину. Если не меньше.

– Ах, да! Но это всё равно такое бремя, такое бремя!.. И я обречён влачить и влачить...

То есть Фриц вовсе не жалел герцогских жертв, но весьма настаивал, чтобы пожалели его самого. Доктор, когда это понял, утратил к пастору-плаксе всё наметившееся было сочувствие.

Впрочем, они заехали в пасторский дом, уютный и нарядный, пастор мгновенно переоделся в мирское и с этой переменой как будто и утратил всю свою печаль. Словно лососинный кафтан и лиловые панталоны чудесным образом прибавили падре оптимизма. И в игорный притон он входил, уже пританцовывая на балетных мысках, мерцая улыбкой из-под чёрной полумаски – амур, зефир. Так яблоко перекачивается в ладони, прежде чем от него откусят...

Доктор Ван Геделе пренебрёг полумаской. Он так долго не был в России и уезжал-то не из Петербурга, из Москвы, – кто мог его здесь узнать? А узнают – и пусть... Он, как только представилась возможность, отсел за стол подальше от пастора – отчего-то расхотелось продолжать с ним знакомство – и принялся играть.

В подобных притонах доктор бывал и в Москве – вернее всего, такие заведения переезжали следом за двором. Всё здесь было роскошное, но словно сшито на живую нитку – чтобы, если понадобится, сразу разобрать и унести. Розы в букетах – бумажные, фрукты в вазах – восковые, и многие со следами зубов. Но свечи в притоне были яркие, и бархат плотный, и девки красивые, и публика, в чёрных носатых масках – явно многие только что от двора. Доктор разглядел за соседним столом двух прежних, с Москвы, знакомых. Правда, пожелают ли они продолжать знакомство и в Петербурге?

То были два юноши, в вороных кудрях, в слепящем золоте, в масках, в длинных серьгах, – звенящие и шуршащие, как рождественская ёлка, с маслинными глазами и кожей, разбеленной до полнейшей упыриной бледности. И даже руки набелены были у них, словно у мёртвых. Оба тонкие, изящные, как прозекторские иглы, казалось, это два близнеца, но доктор знал, что они отец и сын. Два Лопухина, и оба камергеры, и оба Степаны – первый и второй. И старшему из них – уже хорошенечко за сорок. Ван Геделе помнил ещё, как в Москве он, не в службу, а в дружбу, отворял кровь этому пьянице, Лопухину старшему и первому. Сей петиметр тогда, в Москве, как будто стремился собрать в своём хрупком теле все возможные пороки. И, кажется, продолжил пополнять коллекцию грехов и в Петербурге.

Доктор издали кивнул чёрно-золотым игрокам, мол, вижу вас, а дальше – как пожелаете. И с головой ушёл в игру. У него последняя рука была, и карта шла, как никогда прежде. Доктор даже подумал – теперь долго не повезёт ему в любви, и неуместно припомнились отчего-то раскосые рыжие глаза Аделины Ксавье. Даже подозрения поползли – ему, новичку, нарочно дают так выиграть, чтобы ещё пришёл. Но он, Яков Ван Геделе, был не того полёта птица, чтобы его завлекать – много ли наиграешь на жалованье тюремного летателя?

Пастор Фриц, изрядно пьяный, разыскал доктора, когда тот уже закончил игру и собирал со стола свои многочисленные плюсы.

– Там за шторой есть ещё девочки, – манил он, покачиваясь и икая. – Возьмём на двоих одну, это столь пикантно и сблизит нас...

«Содомит, – подумал про пастора Ван Геделе, – быть может, и не осознающий того о себе, но содомит».

– Вы пастор, божий человек, куда вам девочек, – сказал он устало, снимая пасторскую дрожашую лапку со своего рукава. – И потом, скажу вам как доктор, от здешних девочек можно получить такой букет – с ним не сравнятся даже розы в этой вазе.

Доктор кивнул на пышнейшую бумажно-розовую гирлянду, из вазы ползущую вдоль стены, сложил выигрыш в кошелёк и собрался было идти в прихожую за шубой и шляпой, но пастор вился вокруг, не пуская.

– Хотя бы выпьем вдвоём, ведь вы сами желали тогда, в крепости, напиться...

– Вам уже довольно пить, отче, может, мне стоит проводить вас до дома?

– О, да! – обрадовался пастор, наивно полагая, что вот дома-то и ждёт их самое интересное.

– Фриц, кыш!

Белая, с коготками, рука приподняла пастора за шкирманчик и решительно отставила от доктора в сторону.

– Кыш, и чтобы мы тебя больше не видели! – решительно проговорил старший и первый камергер Лопухин и тут же порывисто и страстно заключил доктора в объятия и в облако духов, винного перегара и золотистой пудры. – Ах, Яси, Яси, соседка! Прав я был, что не поверил в ту твою московскую смерть! Герои не умирают, и боги не умирают...

О, этот был ещё пьянее пастора. Ван Геделе осторожно приобнял красавца за плечи, ведь камергера не отряхнёшь прочь от себя, как бы пьян он ни был.

– И кто же ты теперь, в новой жизни, по ту сторону Стикса? – спросил, чуть отклоняясь, но не разжимая объятий, прекрасный Степан.

Доктор оглянулся – пастора след простыл, сбежал, убоявшись золочёного дебошира.

«Кто же отвезёт меня домой? – подумал, тоскуя, доктор. – Ведь с выигрышем не пойдёшь по улицам пешком, здесь только того и ждут. Что ж, сяду на хвост этому пьянице».

– Я третий Леталь на Заячьем острове, – сказал он Степану, грешным делом желая того поугагать.

Но камергер несказанно обрадовался и стиснул доктора ещё крепче прежнего:

– Так это ты! Соседушка, мой свет! Фортуна, неожиданный подарок!..

От обращения «мой свет» доктора привычно замутило.

Лопухин же выпустил его, и осоловелые маслинные глаза вдруг за мгновение сделались разумными и ясными, заблестели, как чёрная вода, схваченная холодом:

– Пойдём, пошепчемся, чтобы не при всех. Давай взойдём на балкон...

– На балкон – зимой?

– Нас завернут в шубы, – и он крикнул в полуобороте слуге. – Мальчик, наши шубы! Пойдём же, Яси, клянусь, не пожалеешь.

Полукруглый балкон был расчищен от снега. Здесь даже горели две масляные неяркие лампы. Прибежал слуга, накинул обоим гостям на плечи шубы и канул, как не был. Красавец Степан раскурил трубочку, запахнулся поплотнее в пушистый мех.

– Теперь нас не слушают, и мне довольно придуриваться. Я ведь не так и пьян. Хорошо, что ты – это оказался именно ты, Яси!..

Доктор смотрел на этого человека, одновременно завидуя и чуть-чуть жалея. Камергер Лопухин был старше его, но выглядел куда моложе и лучше, точёный греховодник без возраста. Он сдвинул маску на лоб, как будто нарочно хвастаясь – гляди, каков. Ни морщин, ни мешков под глазами, округлые нежные щёки и детские румяные губы, всегда чуть приоткрытые, словно произносящие бесконечную наивную букву «о». Как будто он продал дьяволу душу за вечную прельстительную молодость.

Но он разменял, даже не душу, репутацию, доброе имя, и с Москвы, и ещё до Москвы. Камергер Лопухин когда-то уступил жену Нати своему высокому патрону, обер-гофмаршалу Лёвенвольду, отдал в вечное пользование. Запродал – в метрессы, в шпионки. Степана звали уничижительно – куколд, или месье Роган, то ли в честь рогов, то ли в честь такого же французского герцога-сутенёра.

«Царь Пётр навязал этот брак и мне, и ей, и мы с нею вправе не хранить друг другу верности», – так говорил камергер Лопухин, принимая от жены очередного бастарда.

Над ним потешались, но сам он и в голову не брал, ничуть не печалился, король-олень, ведь дамы при дворе столь охотно жалели бедняжечку – и молоденькие, и накрепко замужние. Такой хорошенький и такой невезучий!..

«Не тебе судить его, и не тебе его жалеть, – сам себе напомнил Ван Геделе. – Ты давно ничем не лучше этого самого Степаши».

– Скажи ещё раз, ты – тот тюремный лекарь, что снял полдома возле нас, в конуре на Мойке? – переспросил Степан, склоняя голову, и воронные кудри его, без единой седой пряди, текуче перелились по вороту шубы – как чёрная зимняя вода. – Это точно ты?

– К вашим услугам, Степан Степаныч, – подтвердил доктор и улыбнулся.

И Степан тоже невольно улыбнулся в ответ.

– То-то тантхен будет рада!.. – Степан затянулся и одно за другим выпустил несколько колечек, забавно складывая губы. – Она-то всё хлопотала, как договориться ей с новым жильцом. А это – ты, её маленький Яси...

– Тантхен? – переспросил доктор.

Тантхен Степана Лопухина была старая царица, Евдокия Лопухина, впрочем, давно мёртвая. И вроде бы – всё.

– Не та тантхен, не та, не дёргайся! – рассмеялся Степан. – Увидишь! И точно будешь рад. Мой Стёпушка, как увидал тебя – сразу за ней умчался. Уже вот-вот, Яси.

И тут доктор понял, о ком же говорит камергер. Матушка жены его, Нати Лопухиной, урождённой Балк, ведьма Модеста Балк. Балкша. Ему, Степану – тёща, но тот, видать от большой любви, зовёт ее тётушка, тантхен. Что ж, где Балкша – там всегда и большая любовь...

«Сколько же лет ей уже – сто, как черепахе?»

На балкон взбежал младший Степашка – впрочем, неотличимый от старшего, как доппельгангер.

– Тётушка, сюда, они тут!

Доктор невольно зажмурился. Это ведь страшно – увидеть ту, кого так сильно любил, через двадцать лет. За двадцать лет термит в труху разъедает деревянный дом и вода точит в камне глубокую борозду.

– Неужели так страшно, Яси?

Он открыл глаза. Снежинки, как золотые пчёлы, как мотыльки с опалёнными крыльями, кружили в ореолах матовых фонарей. Два одинаковых кавалера, стройных, чёрно-золотых, встали за её спиной, двойники, отражения друг друга. Свита. Ведьма – тёмная тень, силуэт на фоне неяркого пламени, откинула капюшон – и спиральные локоны, серебро и чернь, взметнулись на ветру, словно ожили горгонины змеи.

– Постарела, да? Омерзительно, правда, Яси?

Двадцать лет, как они не виделись. И пятнадцать лет с тех пор, как минул год проклятый двадцать четвёртый. Тот, где были для неё эшафот, кнут и страшный город Тобольск.

Она не рассыпалась, ведьма, не стала трухой, горькой бороздой в камне. Разве что чёрные змеи кудрей переплелись с серебряными. Но остались прежними – тонкая талия шахматной фигурки и синий яд глаз.

Доктор взял её руку в шёлковой перчатке с перстнями, надетыми поверх. Поцеловал перчатку – амулет гри-гри, белый, замшевый, выполз из рукава на запястье, и доктор и его поцеловал.

– Признайтесь, вы продали душу дьяволу за вечную молодость, ведьма Модеста?

– Давно уж, Яси, ты же знаешь, – рассмеялась она, и глаза её вспыхнули, как спиртовое пламя.

4

Sang royal

Выпал снежок, и мороз сделался чуть помягче – оттаяли и заорали на деревьях неугомонные вороны. Деревья вдоль набережной утопали в снегу, словно в кружеве.

Возок обер-егермейстера остановился возле дома цесаревны Лисавет.

Цесаревнин особняк, на краю Царицына луга, был выстроен когда-то астрологом и чернокнижником Яковом Брюсом и славился прихотливой бестолковостью планировки. Лисавет, получившая чудо-особнячок в наследство от знаменитого колдуна, любила повторять, что устройство дома, как зеркало, отражает её характер, капризный и взбалмошный. И ведь правду говорила – при дворе репутация у цесаревны была не сахар: пьяница, дебоширка, грубиянка. Лисавет спасало от монаршего гнева её положение – незаконной дочери почившего монарха. Эта незаконность, безобидность, невозможность претендовать на престол и выручали каждый раз прекрасную дебоширку от неизбежного удаления в монастырь. И ещё кое-что её выручало, но об этом даже шёпотом ни-ни.

За хороший характер содержание цесаревне жадничали, и половина комнат стояли зимою мёртвые, нетопленные. Но сегодня – Волынский даже подивился – в каждой печке весело плясал огонь и в вазах вместо восковых красовались живые ароматные фрукты.

По случаю протопленных печек дежурному шпиону никак было не влезть в трубу – и бедняга сидел в неработающих напольных часах в гостиной, скрючившись в три погибели. Слышно отсюда было – замечательно, но и опасность разоблачения удваивалась, а как ныли колени...

Цесаревна Лисавет приходилась Волынскому давнишней патронессой. Когда жив был царь Пётр, и Лисавет была у папеньки любимая дочка, Артемий Петрович всячески заискивал перед девочкой, просил её в письмах «о материнской милости». Он присылал из Астрахани осетров для неё в причудливой двенадцатизвёздной чешуе и на балах танцевал – и с нею, и с матерью её, императрицей Екатериной. И первую невесту для князя Волынского сосватали когда-то именно матушка Екатерина и её преданный секретарь, Виллим Иванович Монц.

Пётр умер, умерла Екатерина, и звезда балованной дочки мгновенно закатилась. Но Артемий Волынский остался верен прежней дружбе – просто от того, что запас карман не трёт. И, как старый картёжник, он знал, что козырем может когда-нибудь да сделаться любая карта.

А для Лисавет он был талисман, человек из детства, из *le règne de papa*, и всем своим видом напоминал о прежней воле, о всём хорошем, что было и прошло. Ведь нынешняя воля её была – муляж, как те восковые яблоки в вазах, ничего не значила, ничего не стоила, ничего не обещала.

– Во всём ты, батюшка, нашего герцога повторяешь, – цесаревна вышла к гостю, ещё сонная, с чуть припухшими веками, округлая и грациозная, словно английская глазастая кошка. – Где он, туда и ты. Он ко мне повадился хаживать – и ты зачастил. Верно говорят, что скоро везде ты его заменишь. И не только со мною рядом...

– Дайте угадаю... – Волынский поцеловал протянутые к нему пухлые, с младенческими перетяжками, руки. – Тот недавний санный след, что пролёг от вашего дома, он от саночек посла Шетарди?

– Как в воду глядишь! – рассмеялась Лисавет. – Примчался раненько, разбудил нас. Садись, Тёма, в ногах правды нет. – Она уселась в кресло и жестом пригласила гостя в соседнее. – Ты свои мне сплетни расскажешь, я тебе – те, что Шетарди для меня в клюве принёс.

– Я сплетенками небогат, – притворно вздохнул Волынский, – всё больше по политике, а вашему высочеству она скучна. Вот разве что... Принц Антон Браунгшвейгский с тех пор, как

юная принцесса Анна предпочла его юнгер-дюку Петеру Бирону, на радостях демонстрирует при дворе дерзостную фронду. Герцог наш не переносит чёрного цвета – так принц Антон который день при дворе в чёрном. И так забавно рычит, когда ему напоминают про придворный регламент!.. Мол, отныне регламент ему не указ.

– Признайся, Тёма, ты его вдохновил?

Артемий Петрович потупил глаза, невинно поднял брови, давая понять, что да, но не произнося вслух.

– А у меня сплетенка тоже про герцога, – проговорила цесаревна, – сплетенка-загадка. Вот послушай. Шетарди, едва лишь вручил свои грамоты, устремился дружить с нашими высокими персонами – Бироном, Мюнником и Остерманом. Остерман, конечно, сразу от него спрятался и слугам велел говорить, что он болен. Мюнник тоже не стал с послом разговаривать – на львиную долю оттого, что по-французски он не понимает, хоть и врёт всем, что понимает в совершенстве. Наш Шетарди желал говорить без переводчика, тет-а-тет двигать профранцузскую политику – и фельдмаршал подобной интимности не сдюжил. А вот герцог... Он ведь дружит с де Барантом, и всем пересказывал роман Кретьена де Труа, и шепчется по углам с Лёвенвольдом – тоже по-французски. Но когда посол разбежался к нему со всею своею любовью – герцог сказал только, по-немецки: «Я совсем не знаю вашего языка», – повернулся на каблуках и был таков. Вот что это было, Тёма?

– Ответ так прост, ваше наивное высочество. И герцог, и Остерман давно и намертво запроданы Австрийской Цесарии. Куда там французизму! И потом, слышали ли вы тот язык, на котором герцог говорит с Лёвенвольдом? Послу не разобрать сего наречия.

– Это лоррен, – подсказала осведомлённая цесаревна, – герцог говорит вместо французского на лоррене. Я помню одну поговорку – нужно крепко любить собеседника, чтобы разбирать его лоррен.

И Лисавет беззвучно хохотнула.

– Возможно, герцог убоился позора – посол не настолько им очарован, чтобы разбирать его лоррен.

– Ты плохо говоришь о своём покровителе, Тёма, – упрекнула Лисавет. – Герцог добрый человек и друг нам обоим. Вчера он прислал мне дрова и фрукты. Он знает, чем порадовать женщину.

– Радовать женщину – главная обязанность герцога, – усмехнулся Волынский. – Возможно, он верит, что настанут времена, когда и вы в величии своём не оставите его самого без дров и без фруктов.

Вот и разгадка – отчего пылают печи в каждой комнате и в вазах покоятся благоуханные дары Цереры.

– А я-то полагал, что расщедрилась Дворцовая контора, – сказал он наугад, и наугад – угодил в цель.

Цесаревна зло сощурилась.

– Дождёшься там!.. А теперь, как Лёвольд прослышит про герцогские дрова, и последнее у меня отхватит.

– Люди более всего жестоки к тем, кого когда-то обидели.

Волынский припомнил, как Лёвольд почти сразу после смерти Петра переметнулся от Лисавет к её матери, овдовевшей царице Екатерине. Перепродал себя. Он был невероятно похож на её казнённого Монца, и царица, всё время пьяная, так и звала его до самого конца – Виля, Виля...

– Не угадал, Тёма, – отмахнулась Лисавет. – Он герцога ревнует. Помнишь матушкину коронацию?

– Как же не помнить... Одно из немногих добрых чудес, кои бедному человеку на своём веку довелось повидать...

– А помнишь, как Лёвенвольд, тогда он был камер-лакей, раскопал в какой-то приёмной или на антресолях то ли писаря, то ли секретаря и всюду таскал его с собой, как кот таскает в зубах пойманную мышку? Даже матушке, пользуясь её добротой, он представил свою находку как великого, уникального знатока псовой охоты. Я помню, как мама смеялась – наконец-то нашего злого мальчишку настиг *coure de foudre*. Правда, секретарь тот был поразительный красавец. Да он и сейчас ещё поразительный красавец.

– Догадываюсь, как звали того секретаря. Я, помнится, даже присутствовал при том, как эту находку представляли её величеству.

Волынский вспомнил неуклюжего молодого человека, что-то смущённо лепетавшего на приёме у матушки Екатерины. Что-то про охоту и прибылые пальцы у собак... Этот пентюх имел некоторый успех, и привёл его буквально за руку, да, камер-юнкер Лёвенвольд.

– Его звали вовсе не так, как сейчас, милый Тёма. Его имя было Эрик фон Бюрен, а сейчас за такое обращение он даст тебе по лбу.

Лисавет рассмеялась, кокетливо облизнула губы – уютная, милая, ну, совсем как те бархатистые, крутобокие, круглоглазые котята аглицкой породы.

Артемий Петрович смотрел на цесаревну, поглощённую столетней давности сплетнями, и думал:

«Легкомысленна, труслива, глупа. Эта карта вовек у меня не сыграет. Дура никогда не решится на оверкиль, так и будет по гроб жизни радоваться дровам и фруктам. От щедрот остзейского выскочки, бросающего ей объедки со своего стола. И будет рада вдобавок, что он не её за этим столом сожрал».

– Вот скажи мне, Тёма, как человек, близко знающий герцога, – чего мне ожидать? – спросила вдруг Лисавет и с отчаянной прямоотой взглянула собеседнику в глаза. – После того как принцесса Анна отказала его сыну и назло пошла замуж за браунгшвейгца, выходит, я у него следующая? Ты много говорил о том, что герцог повторяет Годунова. Не отпирайся, я знаю – мой Лесток всё мне рассказывает. Что, мне приготовиться прикажешь, теперь и меня придёт герцог сватать за малолетнего дюка Петера?

– Ваше высочество... – Волынский приподнялся в кресле и широким жестом обвёл гостиную. – Видится мне, что пылающие жарко печи и лежащие в вазах дары Цереры предупреждают вас именно об этом. Вскоре патрон мой падет к вашим божественным ногам и попросит вашей руки – для своего маленького герцога. У вашего высочества, бывшей невесты самого короля Луи.

Цесаревна заметно помрачнела при упоминании об упущенном некогда Луи.

– Не бойся, Тёма, я знаю, как ему отвечать, – произнесла она с какой-то угрозой.

Волынский поднялся из кресел и принялся прощаться – долго и церемонно, с французскими комплиментами и поцелуями рук.

– А отчего часы стоят? – взгляд его вдруг скользнул по безжизненному циферблату. – Извольте приказать, ваше высочество, и лучший часовщик будет у вас уже через минуту.

– Иди уже, Тёма, – отмахнулась раздражённо хозяйка. – Есть кому их чинить.

Шпион в часах прекратил трястись и бесшумно выдохнул.

В русском языке есть поговорка, говорящая о прямой зависимости – между упоминанием в разговоре дурака и скоростью его появления в вашем доме. На немецком языке поговорка звучит несколько иначе, не так обидно – в ней говорится о кошке. Дюк Курляндский явился на порог к Лисавет сразу, как уехал поминавший его Волынский – то ли как дурак, то ли как немецкая кошка.

В гостях у Лисавет герцог маялся, смущался и мямлил. Нет, титул цесаревны не играл здесь особенной роли. Просто живая человеческая красота, столь притягательная и опасная, отчего-то повергала беднягу в мучительное оцепенение. С красивыми людьми герцогу было тяжелее, чем с обычными – в их обществе у него пропадала способность орать и приказывать.

Цесаревна сидела в кресле и уже с раздражением следила за тем, как герцог блуждает по комнате из угла в угол, перебирает фарфоровые безделушки и произносит незначащие замечания на своём ужасном французском. Лисавет давно знала, что французский герцога – всего лишь лотарингский диалект, которому выучил его в детстве вместо настоящего французского негодяй-гувернёр. Герцог понимал французскую речь, но отвечал – на своем рычащем наречии, и Лисавет с трудом, но разбирала его ответы.

– Отчего они стоят? – герцог замер напротив часов и уставился на неподвижные стрелки. – Сломались? Я мог бы починить их для вас, я когда-то неплохо умел.

Лисавет подумала, что за собственноручно починенные герцогом часы венценосная тётушка-кузина прибьет её не просто медвежьей своей лапой – лошадиным кнутом. Дружба герцога порой спасала цесаревну, но порой – обходилась очень и очень дорого.

– Не стоит, ваша светлость, – проговорила она с твёрдостью. – У меня свой неплохой часовщик.

Гость всё-таки приоткрыл часы, сунул нос за створку и разглядел трясущуюся макушку шпиона – своего.

– Да, пожалуй, не стоит сейчас их чинить.

Герцог отошёл от часов и встал на фоне окна – очень выигрышно: стройный силуэт в отблесках регалий, против слепящего солнца. Лисавет подумала, что он и в самом деле не зря занимает место ночного императора. Необычайно хорош, осанка военного, поступь танцора, и красив – как римский патриций. Только при этом странный истерик, и молчит, и мямлит, и грызёт пальцы, и никогда ни в чём не уверен, и шарахается от неё, Лисавет, как будто она чесоточная. И является вот так внезапно, и сидит, как сосватанный, и ни на что не отваживается, хотя протяни руку – и вот она, Лисавет, прекрасная и благосклонная, уже давно ожидающая шанса утереть тётушке-кузине её длинный нос.

Герцог словно услышал эти мысли и, наконец, решился:

– Как вы, русские, говорите, ваше высочество Елисавет – «у нас товар, у вас купец»...

Последнюю фразу герцог с трудом выговорил по-русски.

– Наоборот, – улыбнулась Лисавет. – У вас товар, а у нас – купец. Ваша высокогерцогская светлость изволит сватать меня за юного дюка?

– Угадали, изволит... – Герцог с волчьей усмешкой склонил голову, и стальная прядь упала ему на лоб. – И ожидает милостивого согласия от вашего высочества.

– Увы, мой герцог, – обезоруживающе улыбнулась Лисавет, легко поднялась из кресла и сделала к герцогу несколько решительных шагов – тот отступил невольно, но упёрся задом в подоконник. – Предложение лестное и делает мне честь, но я не считаю себя вправе приобретать в женихи юношу столь незрелого возраста. Дюку Петеру шестнадцать, при известном везении я могла бы его родить...

Лисавет подошла к герцогу вплотную, касаясь его своим платьем. Бедняга в смущении уставился почему-то на неработающие часы. Лисавет продолжила сладким голосом:

– Вот если бы вы просили моей руки для себя – вам бы я не отказала.

Герцог от неожиданности сел на подоконник и широко раскрыл глаза.

– Но это опасно!..

– Разве опасности не усиливают желания?

Лисавет вспомнила свою мать, лёгкую и беспечную Екатерину, умевшую одним жестом превращать влюблённых дураков в свиней. Папенька подарил Екатерине корону, буквально переложив эту корону на голову метрессы – с головы законной жены. Дурачок Виля Монц раздобыл смертельный яд, чтобы хозяйка его наконец-то стала свободна от власти своего тирана. А граф Толстой замял дело и с Монцем, и с ядом, при обыске попросту спалив обличительные письма на свечке. Ах, маменька, смогу ли и я когданибудь так управляться со своими обожателями?

И герцог, как ни странно, тоже вспомнил Екатерину.

– При таком альянсе наши с вами головы имеют хороший шанс оказаться в кунсткамере. По крайней мере, моя голова, – проговорил он тихим, севшим голосом.

– Ваша старшая супруга очень, очень больна... – Лисавет склонилась к самому уху герцога – пахло от него какой-то горькой парфюмерной отравой – и прошептала: – Вы сами брали у меня займы моего Лестока – значит, знаете всё, что знаю я. Мой славный доктор осмотрел вашу муттер и мою тантхен и, вернувшись, ничего не сказал мне, лишь показал три пальца – а это три месяца. А мой Лесток, он не ошибается. Несколько месяцев – и ваша светлость овдовеет наполовину, а если вам повезёт и достанет храбрости, то и совсем. И вашей голове ничего уже не будет угрожать, разве что регентская корона, если такая бывает в природе. И мы с вами тотчас станем очень нужны друг другу – как две части древней химеры. Вы – с реальной вашей властью, и я – со своей наследственной *sang royal*...

Герцог озадаченно смотрел на неё изнизу вверх с подоконника – подобное развитие событий прежде не приходило ему в голову. В глазах его, как в бухгалтерской книге, уже бежали строки просчитанных прибылей и убытков – и сальдо выходило в его, герцогскую, несомненную пользу.

Лисавет, как когда-то Екатерина – то был любимый её жест – нежными пальцами взяла растерянного герцога за подбородок.

– Я ожидаю милостивого согласия от вашего светлейшего высочества.

– Я не знаю... Я должен подумать, – пробормотал оцепеневший герцог.

Лисавет смотрела в его глаза, чёрные, зеркальные, и думала о том, что мужественная внешность – ни разу не признак мужества, а красавцы и вовсе, как правило – варёная каша.

– Позвольте сказать вашей светлости, что вы невозможная мямля. И тюха, – по-русски произнесла Лисавет без надежды, что герцог её поймёт, и, не удержавшись, всё-таки поцеловала его первая, в эти твердые, красиво очерченные губы.

Все долгие месяцы, пока он просиживал у неё и мямлил, ей очень, очень этого хотелось. И Лисавет притянула его к себе, так, что звякнули его драгоценные ордена и подвески, и заставила ответить на свой поцелуй – кто-то же должен вести в этом танце, и вообще, вот тебе, тётушка, получи и теперь распишись...

Двое так увлечены были друг другом, и не могли видеть, как в углу гостиной вибрируют от мелкой дрожи напольные часы. Может, и слава богу, зрелище было почти inferнальное.

– Петька, лимонаду! – томным голосом из кресла приказала Лисавет.

Герцог убрался восвояси – потрясённый и озадаченный открывшимися перспективами. Он и не догадывался, что можно жениться на принцессе самому, а не пихать везде своего малолетнего Петра.

Подали лимонад – в бокале со льдом, и Лисавет сделала несколько жадных, истерических глотков. Дверь из смежной комнаты отворилась, и вошёл ещё один замечательный красавец – в ночном колпаке, в шёлковом шлафроке, с отпечатком подушки на округлой физиономии. Красавец был высок и толст, ещё выше и толще герцога, и говорил густым оперным басом – да и был он по профессии своей оперный бас, придворный певчий. Певчего этого вывез из Малороссии нарочно для Лисавет коварный Лёвенвольд – чтобы отвлечь внимание легкомысленной цесаревны от герцога, который как раз начал засиживаться в её доме и мямлить. Преподнёс подарок от щедрот Дворцовой конторы. Не очень-то помогло, но красавец у Лисавет остался, так сказать, про запас – который карман не трёт.

– Как спал, Лёшечка? – ласково спросила Лисавет. С Лёшечкой они в самом разгаре страсти с дури тайно обвенчались, и Лисавет размышляла – куда теперь Лёшечку девать, когда герцог, наконец, решится и явится со сватами? Да, наверное, туда же, куда и герцог собрался девать свою Бинну...

– Ты, матушка, замуж, что ли, собралась – за этого, нерусского? – мрачно предположил Лёшечка.

Значит, подслушивал под дверью – вон и ухо красное. Или это тоже от подушки?

– Подслушивать дурно, Лёшечка, – наставительно сказала Лисавет толстому красавцу. – И нерусский этот пока никуда меня не зовёт. Как позовёт – пойду.

– Порешу тогда обоих, – еще мрачнее прогудел несчастный Лёшечка. – Грамота у меня есть, матушка, о нашем с тобою браке... Куда её?

– Точно хочешь услышать – куда? – рассмеялась Лисавет. – Наш брак с тобою – до того самого дня, пока годный жених не покажется. Морок, иллюзия. И ты, Лёшечка – сон мой сладкий, пока настоящий принц меня не разбудит.

Лёшечка шумно выдохнул и уселся в кресло. Горничная стремительно поднесла ему бокальчик с водкой и огурчик с салом. Бедняга выпил, закусил и разом просиял.

– Трус он, этот твой нерусский, – сказал он весело. – Да и трое деток у него. Куда он их, байстрюками сделает? Так что спи, матушка, сладко, не трепыхайся.

Лисавет злобно скосила на него глаза, мол, уел.

Герцог, конечно, не трус, но невозможная тихоходная мямля. Решится он или же нет? Лисавет припомнила недавний поцелуй – как отвечал он ей, словно утоляя давнюю жажду. Так целуют только любимых. Именно герцог единственный при дворе защищал Лисавет и не позволял заточить её в монастырь, в одиночку противостоя всей прочей немецкой своре. И приезжал к ней – вопреки всему, шпионам повсюду, ревности двух своих жён... Бог знает, как доставалось ему потом дома за эти визиты.

– Дурак ты, Лёшечка, – сказала Лисавет самодовольному своему собеседнику, вовсю хрустевшему огурцом. – Если мужчина захочет – он всё сможет решить. А уж как решить – я сама ему подскажу.

В антикаморе, комнатке перед царицыными покоями, две гофмейстрины, Лопухина и Юсупова, играли в шахматы, лениво переставляя фигуры. До ночи было ещё далеко, но дамы зевали и выглядели как рыбы, вытщенные из воды.

Ту ночь не спали – у хозяйки был приступ, пускали кровь, и даже фрейлин гоняли с тазами, как прислугу. Выплеснуть кровь, подать корпию, принести бинты. И день выдался дрянь – крик, придирки, мальчишка Карл Эрнест убил из рогатки кошку. Хозяйка весь день провела в постели, обложенная подушками, с невыносимой Бинной Бирон в ногах. Карл Эрнест, слава богу, побегал с рогаткой и убрался, а мамаша Бирон осталась, и повелевала не хуже, чем настоящая царица. Остзейская швабра... Вот отчего муж в этой семье любезный красавец, а жена – безобразная мегера?

– Рада, конь так не ходит!

Рада Юсупова поставила коня не на ту клетку – задумалась о супругах Бирон: почему приятный господин взял в жёны столь уродливую гадюку?

– У вас будет цугванг, Рада... – Герцог вошёл неслышно и из-за спинки кресла наблюдал за партией. – Если вы поставите коня на е-шесть.

– А если так?

Девушка передвинула на доске фигурку и полуобернулась к герцогу, кокетливо отводя от лица локон. Нати Лопухина смотрела – на них, на неё – отчего-то с печалью и жалостью.

– И так цугванг, но несколько позже, – со вздохом ответил герцог. – Верьте мне, Рада, о цугвангах я знаю вот совсем всё. Как матушка?

– Почивали, теперь в карты изволят играть с её светлостью.

Рада красиво опустила ресницы и откинула голову так, что замерцали алмазные шпильки в напудренных золотом локонах.

– Пожелайте мне удачи, дамы, – почти жалобно попросил герцог. – Видит бог, мне она понадобится.

Он тряхнул волосами, по-лютерански перекрестился перед дверью и, прежде чем шагнуть в покой, сделал лицо, надел на себя приятную, но неживую улыбку. И толкнул дверь.

– Он тебе нравится? – тишайшим шёпотом спросила Нати.

– Но мне дорога моя жизнь, – тоже прошептала Рада. – Пойдём, послушаем.

Они поднялись и неслышно приблизились к ещё качающейся двери.

– Опять у неё, с нею, с Лизкой... От тебя и пахнет её духами, разит, как от мыловарни...

После пущенной крови голос у её величества ослаб и уже не гремел, а скрипел. Дамы у двери переглянулись, и Нати показала Раде изящно сложенный кукиш. Та лишь прижала палец к губам – тише! – но ответа герцога всё равно было не расслышать, так вкрадчиво он говорил. Зато отвешенную ему оплеуху – слышно стало вполне.

– Муттер, всем лучше делается, если вы позволите вашему покорному рабу оставить двор и отбыть в родовые земли. – В спокойном голосе герцога играло злое торжество. – Я в тягость вам, у вас давно новый пупхен, господин Волынский уже во всём меня заменил, и в политике, и возле вас тоже. Отпустите же вашу наскучившую игрушку. Позвольте мне уехать...

– Сам знаешь, только вперёд ногами, – с таким же злым торжеством ответила и хозяйка. – Бинна, выйди.

Дамы быстро отступили от двери, расселись в кресла с задумчивыми лицами. Дверь распахнулась, и быстрым шагом, почти бегом вышла Бинна Бирон, миниатюрная, с хищным личиком, пронеслась мимо фрейлин, не глядя.

– За шпалеры побежала, подслушивать, – прошептала Нати.

В антикаморе было слышно – как ходят часы, как мышь пищит за печкой, и как шуршит, шевелится и скрипит кровать в покоях.

– Герцог на службе, – вздохнула Рада, переставляя коня на доске – то так, то эдак, и стараясь не слушать шорохи за дверью. – Так цугванг, и так цугванг...

– Он тебе нравится, – не спросила, а констатировала Нати.

– На него слишком длинная очередь. Не хочу затеряться в самом хвосте. И потом, что толку – если он так рвётся уехать...

– Он вовсе не рвётся, это кокетство.

– Нет, Нати. Он и в самом деле мечтает уехать. Говорил: «Я всё бы отдал за возможность побега. За возможность бежать отсюда, пусть не с любимым человеком, хотя бы одному – но уехать».

– Тебе говорил? – быстро спросила Нати.

– Кабы мне. Много мне выйдет чести. Нет, господину Лёвенвольду. В беседке, осенью, после бала старейшин.

Цандер слушал молча, и всё более густая тень ложилась на его лицо. То, что рассказывал шпион из цесаревнинных неисправных часов, пахло изменой, и дыбой, и плахой, и неизбежной гибелью его высокого покровителя. Не зря говорят, что отравители чаще всего травятся собственным ядом. Герцога мог теперь погубить его собственный шпион – если разнесёт свои знания дальше.

– Кто ещё был при этом? – тихо спросил Цандер.

– Господин Разумовский, это певчий, который... – начал было шпион.

– Я знаю, господь с ним. Он не побежит к дознавателям – его первого сошлют, за ту грамоту, которой он хвастался. Ваня Шубин с подобной грамотой от её высочества – уже омыл ноги в Охотском море. Женишок морганатический.

Цандер промокнул бумагу, на которой немецкой скорописью запечатлел показания шпиона.

– Ты понимаешь, что сейчас ты это подпишешь – и герцог в наших руках? И мы сможем любую цену называть – за то, чтобы это всё не всплыло? И утром мы с тобою выйдем из этого манежа – в золоте с ног до головы, как обер-гофмаршал Лёвенвольд?

Шпион вспомнил обер-гофмаршала и его знаменитые одеяния, сплошь затканное золотом, и гоготнул.

– Хорошо, что ты пришёл ко мне, а не к герцогу напрямик! Волли просто придушил бы тебя, и всё... – Цандер разгладил лист на барабане и поднялся. – Прошу в седло, мой друг. Поставь свою подпись – и мы с тобою в дамках.

Шпион, осторожно озираясь, уселся в седло. Цандер услужливо подал ему перо и чернильницу и тут же мгновенным движением вытянул из рукава гарроту и накинул бедняге на шею. Чернила брызнули, замарали и барабан, и Цандера, и шпиона – уже покойника. Цандер бережно взял с барабана бумагу – всю в чернильных пятнах – и поднёс к танцующему пламени свечи. Бумага загорелась, шипя – ведь чернила ещё не просохли. Теперь оставалось вызвать подчинённых Волли – чтобы вынесли тело – и засесть за написание ежеутреннего экстракта. Что-то подсказывало Цандеру, что этим утром он если и не уйдёт из манежа весь в золоте, как гофмаршал Лёвенвольд, то хотя бы ощутимо поправит свои финансовые дела.

Так цветочная пыльца становится мёдом и кровь превращается в ржавчину. А выдуманные однажды, с фантазией и огоньком, болезни – вдруг, через десять лет, перерождаются в самые настоящие. Реальными делаются помутнение и загноение склер, и подагра, и хирагра, и почечуй, и нутряные килы, и даже антонов огонь.

А кокетливый красивый царедворец, сочинявший для себя диагнозы, дабы пореже мотаться в присутствие и государственные дела решать дома, превращается в скрипящую изношенными шарнирами куклу – burattino. И – прежде маскарадные – душегреи, и грелки, и пледы, и очки вдруг нечаянно приходятся к месту.

Вице-канцлер Хайнрих Остерман, для русских Андрей Иванович (Генрих – Анри – Андрей), почти не покидал собственного дома. Недуги и немощи не пускали. Подагрик, хирагрик, с всегда воспалёнными глазами, он, казалось, был средоточием всевозможных болезней (пусть злословцы и шипели – наполовину выдуманных, ведь и половины от остермановых болезней хватило бы, чтоб мгновенно убить слона на слоновом дворе). Укутанный пледами, завёрнутый в меха, обложенный грелками, Остерман сидел в своём доме, как паук в центре паутины, и всё знал.

Все новости и свежие сплетни двора вице-канцлер узнавал от старого друга, обер-гофмаршала Лёвенвольда. Тот управлял сложнейшей, разветвлённой Дворцовой конторой, и даже не нужно было держать шпионов – ведь дворцовые служащие и так были везде. Прислуга в комнатах, карлы, повара, музыканты, балетницы и даже певчие в придворной церкви – все они с удовольствием делились сплетнями и подковёрными секретиками, ведь начальник конторы был господин очень, очень милый, и ласковый, и красивый. И, главное, внимательный. Он слушал, улыбался, вкрадчиво переспрашивал. И щедро платил за понравившиеся ответы.

И потом, почти каждое утро, являлся с новостями на пороге у любимого друга. Совсем как почтовый голубь на форточной перекладине.

Вице-канцлер слыл умнейшим человеком при дворе, и даже носил соответствующее прозвище – Оракул. Ибо прозревал неведомое и изъяснялся туманно, как пифия. Умнейший, единственный – над ним были только матушка царица и господь бог, ведь канцлера, целого, не вице, так и не завели, обязанности канцлера самонадеянно возложил на себя герцог Бирон (де-факто, де-юре постеснялся), но он был тот ещё канцлер, псоглавец курляндский, недотёпа... Герцог, он как кот в доме – царствовал, но не правил. Ну, и пакостил иногда... Остерман то и дело ловил дурачка на краю пропасти, и, конечно же, прибирал за ним, исправлял огрехи и решал всё по-своему.

Сегодня Остерман сидел в скрипучем кресле-качалке, закутанный по случаю зимы и простуды в плешивую домашнюю лисью шубку. Голову вице-канцлера украшала вязаная чёрная шапочка наподобие чепца или рыцарского подшлемника – тоже ради тепла, а воспалённые глаза прятались под круглыми очочками.

Лёвенвольд, молочно-золотой, запудренный до прозрачности, тонкий до прозрачности, словно лиможский фарфор, поместился напротив хозяина на продавленной кушетке – чтобы сесть, ему пришлось сбросить на пол три носка, шарф и отставить блюдо с рыбой.

– При дворе только и сплетничают, что о Тёминой записке, он назвал её «Представление», – начал свой рассказ Лёвенвольд. – Тёмочка уже многим давал её читать, и мой несостоявшийся тесть, князь Черкасский, пересказал мне эту записку в ярких красках.

– И какова она – наверное, пасквиль? – спросил вице-канцлер, казалось, без интереса.

– И да, и нет. Имена в ней не называются, и Тёмочка пишет, на первый взгляд, про двух своих конюшенных немцев, Кишкеля, и второго такого же, но только с кудельками. Мол, есть у нас господа, употребляющие закрома родины как собственные карманы. Но, если прочесть поэму внимательно, уже начинает казаться, что речь – о тебе, Хайни, в первую очередь, и потом о Тёмочкиных врагах, Головине и Куракине, как же без них. Двумичные злодеи, бездарные компрадоры... Ну, можно и ко мне применить эту писанину...

– К тебе? – удивился Остерман. – Отчего к тебе-то?

– Бездарные компрадоры – мои клиенты Строгановы, я соляной принципал и управляю соляными копиями – омерзительно!.. – Лёвенвольд принял нарочно гордую позу. – Но, конечно же, звезда сей записки – не я и не ты, а наш с тобою месье Бирон.

Собеседники переглянулись и рассмеялись.

Этот «месье Бирон» неизменно вызывал веселье и у Остермана, и у Лёвенвольда. Дюк Курляндский всю свою жизнь упорно настаивал, чтобы фамилия его писалась во французской транскрипции, и, как ни удивительно, добился своего – французские Бироны де Гонто не так давно признали его своим утраченным родственником, утерянным в недрах Курляндии питомцем замка Бирон. И счастливо обретенным, да. Старейший маршал Франции Арман Бирон, наверное, из-за старости изволил себе впасть в маразм.

Лёвенвольд, чьей страстью была генеалогия европейских дворян, прекрасно знал, что никакие они не родственники, и родословные их древа даже не зацепляются ветвями, и Арман всего лишь пленился герцогским титулом претендента на родство. Или подарком. Или же некий умелец столь искусно пририсовал герцога к фамильному бироновскому дереву, что маршал Арман сей мистификации наивно поверил.

(А на самом деле фон Бюрены – они и есть фон Бюрены, в окрестностях Могилёва таких сидит целый выводок. И никакие они не французы, обычные ливонские немцы, с дворянством, пожалованным лишь в начале века германским курфюрстом).

Лёвенвольд сдержал смех и продолжил:

– Тёмочка уже перевёл свою записку на немецкий и передал возлюбленному своему патрону.

– Отважный человек, – оценил Остерман.

– Тёма и не подумал, что герцог поймёт, что речь в записке ведётся и о нём тоже. Тёма полагает, его патрон глуп как пробка. Он, как и многие чересчур уж образованные люди, считает всех вокруг дурнее, чем он сам.

– В случае с герцогом он не так и далёк от истины...

– Но Эрик непременно покажет записку мне! – В голосе Лёвенвольда послышалась сдержанная гордость, герцогское имя он выговорил тепло, интимно, с франкофонным ударением на второй слог. – Он во всём со мною советуется. А у меня не так много своего ума, но довольно – твоего. Ты же подскажешь, как мне вывернуть волынскую поэму – чтобы две наших душечки вконец рассорились?

Остерман посмотрел с нежностью на своего друга.

Уже двадцать лет Лёвенвольд называл его – «мой кукловод», и в этом ироничном именовании была доля истины. Когда-то давно они сами так распределили роли – хитрый кукловод и прекрасная марионетка. Один мог задумать интригу, другой в силах был вдохнуть в неё жизнь, сыграть, как пьесу на сцене. Остерман сторонился публичности, он был мизантроп, нелюдим, затворник. А его приятель, ломака-Лёвенвольд – был звезда, игрушка, нарядная кукла, кажущаяся бескостной и покорной марионетка. Но Остерман знал настоящую цену своего драгоценного инструмента. То было оружие, идеальное продолжение направляющей руки, оружие, способное и защитить, и убить.

Остерман частенько вспоминал, как в иезуитской школе монахи заставляют учеников каждое утро поливать вонзённую в землю шпагу – Рене Лёвенвольд всегда напоминал ему такую блистающую наточенную шпагу, но вдруг действительно, логике вопреки, расцветшую благоуханными белыми лилиями.

Их давний союз, пятилепестковой лютеранской розы и пятиконечной люцеферитской звезды, чьи силуэты так нечаянно совпали...

Вице-канцлер проговорил задумчиво:

– Время от времени его светлость воображает себя рабби Бен Бецалелем и вкладывает очередной тетраграмматон в голову очередного глиняного болвана. Он делает этих големов – для борьбы со мною, и мне приходится, скрепя сердце, одного за другим превращать их в прах. Прокурор Маслов, министр Ягужинский, теперь вот этот Тёма – голем, правда, более всего прилагающий усилий – для истребления собственного создателя.

– Жаль, что после смерти Маслова Эрик взял с меня слово дворянина, – вздохнул Лёвенвольд, – что мы не станем более травить ядом его креатуры. Как же проигрался я с Масловым! – Он страдающе завёл глаза. – И всё ты, Хайни. Ты так всё выстроил – что я, наивный ревнивец, поверил и бросился очертя голову спасать – тебя, Эрика, себя, и сам пропал, с этим ядом. А может, ты того и хотел? Чтобы труп лёг между нами?

Остерман грустно улыбнулся, покачал головой – нет.

– Эрик не простил мне Маслова, – глухо и горько сказал Лёвенвольд. – И не простит, наверное. И он завёл себе этого Тёму – так хозяйка, у которой издох кот, заводит себе следующего, точно такого же. И да, Тёме тоже не повредила бы щепотка тофаны, – продолжил он совсем тихим шёпотом.

– Можешь не шептать, здесь нет шпионов, – улыбнулся вице-канцлер, и кресло его качнулось, – а те двое, что есть у меня – читают и по губам. К слову о шпионах, читающих по губам – ты знаешь, Рейнгольд, что некто Плаццен, из раболепства перед русскими именующий себя Плаксиным, использует людей твоих как собственных агентов? Тот Плаксин, который Цандер. Бироновский охранник. Твой лакей Кунерт у него на жаловании, и госпожа Крысина из твоей театральной труппы.

– К балерине Крысиной равнодушен генерал Густав Бирон, младший братец его светлости, герой войны и безутешный вдовец, – тут же припомнил Лёвенвольд. – А к генералу Густаву равнодушна герцогиня Бинна, супруга той же самой светлости. Неудивительно, что светлость желает держать все эти нити в собственных руках. Я не смею его осуждать. А вот Кунерту я откручу его алчную голову. Впрочем, тоже нет – я откручу голову тому Плаксину, который Цандер.

– Нам самим пригодится такая голова, – тихо подсказал вице-канцлер. – Этот Цандер толковый парнишка. Давай мы с тобою сделаем перекрывающую ставку. Герцог, я знаю, скуповат, а о твоей расточительности ходят легенды – ты можешь попытаться перекупить у герцога его игрушку, тем более что с Цандером вы старые знакомые.

– Я попробую, Хайни, – произнёс послушно Лёвенвольд и смиренно опустил ресницы.

5

Messe noire

Антраша руайяль, антраша труа, антраша катр... В окнах напротив питомицы танцевальной школы репетировали балетные па – привставали на мыски, приседали, томно разводили ручки. В жёлтых оконных квадратах девичьи силуэты казались мотыльками внутри фонаря, которые бессильно трепещут за стеклянными стенками.

Доктор глядел на танцорок и вспоминал недавнее свидание на снежном балконе в свете вот таких же жёлтых фонарей, в стёкла которых ударились снежинки, как мухи. И таяли, таяли...

Увы, Модеста Балк не купила у дьявола вечную молодость. Свет упал по-иному, и доктор разглядел и морщины, и запудренные, замазанные тени под глазами, и ямы под скулами. И улыбалась она теперь, не разжимая губ – значит, и зубы уже – увы... Из прежнего арсенала при ней остались разве что точёная талия и глаза – самого синего цвета. Но и этого не мало. Доктор прикинул, сколько ей лет, выходило за пятьдесят, в этом возрасте вряд ли кто может похвастаться даже талией.

А тогда, в двадцатом, ей было за тридцать. А Яси – тринадцать. Скучающая красотка-соседка, любительница гороскопов и тарот, заходила к матушке поболтать, раскинуть карты. Иногда они являлись вдвоём, две подруги, две просвещённые дамы, придворная художница Гизельша и колдунья (придворная ли?) Балкша. С матушкой и сестрицами жгли мускусные палочки, гадали, высматривая кавалеров в зеркальных коридорах. С крыльца кидали сапожок на снег. Яси, мальчишку, не гнали, позволяли смотреть. Что он поймёт, ребёнок, в пасьянсах, восковых отливках, зеркальных тенях? И Яси глядел – не на тени, кому они надобны, на красавицу-соседку, тонкую, в чёрных кудрях, с мучительно синими глазами. И соседка на него поглядывала. И однажды, походя, нечаянно, случайно, в тёмный дождливый день, соблазнила мальчишку. Легко. Так кошка, играя, сбивает лапой птичку. И – позабыла. Сколько их было у кошки, таких-то птичек?

Что там было потом? Да ничего. Виделись, здоровались, прощались. Потом сестрицы умерли, и матушка умерла – Балкше не к кому стало приходиться. Потом Яси уехал учиться – надолго. И дядюшка написал ему, уже туда, в Лейден, что Модеста Балк арестована и по приговору суда бита на площади кнутом. Брат её, Виллим Монц, был обезглавлен на том же эшафоте, и кровь с его отрубленной головы лилась сестре на плечи. Пока палач хлестал её у столба. Её казнили не за колдовство, а за непутёвого брата – грехи его, как и его кровь, тоже пролились Модесте на плечи, и четыре долгих года не давали подняться. Потом дочь, Нати Лопухина, урождённая Балк, выхлопотала для матери помилование.

Доктор знал о Модесте, что та возвращена из ссылки и живёт в Петербурге, но ни ему, ни ей прежде не было друг до друга особого дела. И внезапно он стал ей нужен...

Доктор усмехнулся, вспомнив, зачем. Зачем она его разыскала. Глупая, никчёмная, опасная пьеса. То зеркало, в которое смотрели они с Осой в комнату ката-соседа Аксёля, – теперь доктор знал, для чего оно было.

«Что ж, сыграем, – подумал доктор со злым задором. – Партия – с Лопухиными, с Балками. С цесарским посланцем Ботта д'Адорно. С бывшим патроном Лёвенвольдом. И вместе с такими картами – я, жалкая фиска. Козырь на одну игру. Сыграем...»

Оса спала в своей комнате – учительница привезла её домой прежде, чем доктор вернулся из игорного дома в лопухинской карете. Девочка устала и рано попросилась спать. Завтра у Ксавье выходной, значит, и Оса никуда не поедет, останется дома, с Лукерьей. Надо подумать, как обставить завтрашний спектакль – чтобы они не поняли. Впрочем, Лукерья, кажется,

знает. Та комнатка, за зеркалом, за ковром, не была для неё секретом, возможно, рыжая чертовка посвящена и в тайну – для чего эта комнатка надобна.

Прежде чем улечься спать, доктор зашёл в комнату к дочери и смотрел, как спит она – луна стояла в окне, светом, как снегом, запорошив развороченную постель. Девочка спала, положив под голову ладошки, так всё ещё и перепачканные красками. Чёрная лохматая косица лежала у неё на шее.

«Ни в мать, ни в отца...» – подумал доктор.

Оса ничем не походила на мать, ничего, увы, не осталось в ней от матери – на память. Доктор знал, что так бывает, часто дети получаются похожими не на отца и мать, а на каких-то дедов или бабок, значит, прежде был у Осы кто-то в роду, вот такой, черноволосый, румяный и толстенький. Ни в мать, ни в отца. Жаль, что не в мать. И прекрасно, что не в отца. Вот сестрица её покойная, Кетхен, была похожа и на отца и на мать, так похожа, что даже смешно.

Доктор усмехнулся, вспомнил, как прежде, в Москве, был он недолго лекарем в придворном театре и бродил по лефортовским парадным залам, глядя на фамильные портреты русских царей. И так забавно это было – когда у родителей, лупоглазых, носатых, костистых, нелепых, рядом с такой же лупоглазой некрасивой дочерью вдруг обнаруживался ангельски-белокурый, прекрасный, как лунное лезвие, внезапный сынишка. Ни в мать, ни в отца...

Возок из крепости прислали ранним утром, прежде ещё, чем солнце взошло. Гвардеец с запиской от Хрущева влетел сперва на докторскую половину дома, потом на Аксёлеву, всех перетормошил, перебудил.

– Что там? – спрашивал у него доктор, стремительно одеваясь. Записку он прочесть не смог, глаза поутру яростно слезились после вчерашнего пьянства.

– Так распопа помер, – сказал гвардеец весело, – надобно описать.

Оса с Лукерьюшкой тоже проснулись, вышли в гостиную, обе в шالях, накинутых на голову, как две монашки – маленькая и побольше.

– Служба, сударыни, – успокоил их доктор.

Дочка с домоправительницей переглянулись, синхронно зевнули и сонно разбрелись по своим комнатам.

Доктор набросил на плечи шубу, подхватил саквояж с инструментами и поспешил на улицу, в возок. Аксэль с гвардейцем уже сидели внутри на жёстких скрипучих подушках и вдохновенно зевали.

– Вот и мечта твоя исполнилась, – сказал Аксэль глумливо. – Посмотришь, наконец, на распопу.

– И много ещё делается в крепости, о чём я не знаю? – спросил его Ван Геделе.

Аксэль поглядел в переднее окошко, на спину возницы, потом скосил глаза на гвардейца, клюющего носом над бряцающим на ухабах ружьём.

– Сделаешь дела – зайди ко мне в каморку, пошепчемся, – посулил он и подмигнул.

– Знаешь Балкшу? – спросил доктор.

– Которую – Лопухину или матушку?

– Матушку. Разыскала вчера меня...

– И это тоже – в каморке.

Аксэль красноречиво кивнул на спящего гвардейца и картинно отвернулся к окну.

Возок прыгал полозьями по понтонному мосту, намертво вросшему в лёд. По правую руку играл в лучах авроры причудливый ледяной дворец, уже кое-где покрытый крышей.

Покойник распопа обнаружился не в камере, в крепостном морге. Труп, от яда аж чёрный, лежал на мраморной разделочной колоде с ручками, целомудренно сложенными на груди крестом. Тут же туда-сюда суетливо прохаживался уже знакомый растерянный канцелярист Прокопов с писчим подносом, снаряженный пером, чернильницей и песочницей. Бумага трепетала над подносом на сквозняке.

Канцелярист вопрошал, заикаясь:

– Так и п-писать – с-смерть от яда?

– С ума сошёл? – застонал Аксэль с порога. – Стосковался по внутренним аудитам? Пиши – прекращение сердечного боя!

И вознёсся по ступеням прочь, видать, в свою каморку.

– Не вздумай писать про сердечный бой! – Доктор отставил саквояж и трость в угол, снял перчатки, склонился над телом, не трогая, только глядя. – Это дикость. Пиши: прекращение сердцебиения и дыхания вследствие остановки течения жизненных соко... – Эти «жизненные соки» ещё с Лейдена его выручали, ведь приписать им можно было всё что душе угодно. – Видишь, он синий? Значит, задохся во сне. Пишем: угнетение дыхательной функции по причине природной слабости сердца. И всё. Сердечный бой...

– П-понял, – улыбнулся черноволосый лохматый Прокопов, и перо его весело поскакало по трепещущей бумаге, которую прижимал он пальцем.

– Присядь на колоду, – посоветовал доктор, благо свободных колод в морге оставалось аж три. – Вот, садись на перчатки.

И Ван Геделе бросил на мрамор две свои тёплые перчатки. Прокопов благодарно кивнул, тут же сел на них задом и продолжил записывать. Этот молчаливый, застенчивый, ясноглазый молодой канцелярист почему-то нравился доктору.

– Ты заикаешься с рождения или после испуга? – спросил он Прокопова.

Тот поднял голову от дрожащих на сквозняке листов и сказал – согласные натыкались в его речи друг на друга, как обыватели в очереди на паром:

– В д-детстве я свалился в к-колодец и с тех пор з-заика. Матушка моя г-говорила: «К-кто д-долго г-глядит в к-колодец – п-потом г-глядит из к-колодца».

– Забавно!.. – оценил Ван Геделе. – Так ты истерик. Я взялся бы вылечить тебя, коли не побоишься.

Он понял уже, что тюремный Леталь, по сути, ничем не занят – только подписывает протоколы осмотра трупов. Отчего было не развлечься, не сделать мимоходом доброе дело?

– К-когда? – только и спросил Прокопов.

– Да хоть завтра, – усмехнулся Ван Геделе, идея излечения заики, как либретто оперы – в общих чертах уже сложилась в его голове. – И ещё... Мы же можем пойти дописать протокол в кабинет к Хрущову? Всё равно протокол – для него. На покойника я уже власть нагляделся, а холодно здесь – даже мне в шубе, а тебе и подавно.

– П-пойдём, – согласился Прокопов.

Этот молодой человек старательно экономил слова, чтобы не утруждать собеседника своим заиканием, и это показалось доктору трогательным.

В кабинете самого Хрущова не было, но гвардеец впустил их и даже помог устроиться за столом под портретом.

– А где его загородие? – спросил доктор.

– Выехал к нам, – отвечал гвардеец. – За ним сани послали, вот-вот прибудет.

Пока Прокопов писал, доктор ходил по комнате – взад, вперёд, наискосок – и взглядывал на портрет папа нуар. Всё-таки господин Ушаков внешне был очаровательный петиметр, если не знать о нём подробностей...

– Это что ещё тут? – На пороге появился высокий крупный господин, в плаще, в носатой бауте, весь тайна, самодовольство и гордыня. – А ну, брысь оба!

– Ты дописал? – спросил Прокопова доктор, поглядывая на гостя безо всякого трепета.

По прежнему опыту в московской «Бедности» он знал уже этот особенный сорт господ, в масках, в нарядах, тщившихся казаться скромными. Сухопутные приватеры... Доктору даже сперва показалось, что он и этого знает, но нет, тот, прежний, из «Бедности», из той его жизни, двигался легко, как танцор, а этот, здешний – грохотал сапогами, как военный.

Он вошёл в кабинет, угрожающе навис над столом:

– Вам надобно повторять?

Прокопов молча подманил доктора кивком, тот обошёл стол, нагнулся, расписался в протоколе. Канцелярист присыпал документ песочком, встал с места, поклонился и полез из-за стола.

– Герр фон Мекк, отчего вы их гоните? – от двери возгласил входящий Хрущов. – Не узнали Прокопова? Лучший наш писарь... Доктор, правда, новенький, но он алхимик, аптекарь – не гоните и его, может пригодиться.

Нарядный злюка фон Мекк отступил от стола, уселся на стул для просителей, закинув ногу на ногу. Доктор глядел на него, прищурясь, и внушительная фигура господина фон Мекка как будто мерцала перед его глазами – он, но вроде и не он...

– Я сегодня ни с чем, Николас, я так, по пути, – мягко прогудел из-под бауты голос фон Мекка. Увы, такая маска меняет голос, и не узнать... – Завтра прибудет карета, прошу, освободите ребят – на утро. А лучше – с ночи.

Хрущов коротко поклонился.

– Так точно. Вы сами изволите прибыть?

– Нет, мой брат. Его интерес, – повёл плечами фон Мекк.

«Брат!» – тут же выстрелило и у доктора. Конечно... всего лишь два человека, и похожие, и одновременно разные – братья.

Хрущов неслышно подошёл, приобнял доктора за плечи, как бы отгородившись с ним ото всех, и прошептал нежнейшим альтино:

– Папа нуар говорил о вас, что вы можете делать некие эликсиры. Вроде бы прежде, в «Бедности», вы смешали для него неплохую сыворотку правды. Сможете повторить такую же? Завтра, к утру, это не за жалованье, это отдельно оплачивается, я вас потом просвещу.

– Разве что к утру. Ночью я занят.

– К утру, мой друг. К ночи их и не будет, они вечно припаздывают... – Ассессор сказал это совсем тихо, скосив глаза на неподвижного важного фон Мекка, и улыбнулся лукаво. – Я позову вас попозже, пока берите Прокопова и идите, а мы посекретничаем. Вы распопу описали, покойника?

– Уже...

– Славно. Идите...

Доктор взял саквояж, трость и вышел, и Прокопов со своим подносом – устремился следом.

В коридоре они с Прокоповым расстались, канцелярист попрощался и сбежал, а доктор по памяти, следуя по лесенкам и переходам, спустился в пытошную.

Кат Аксэль не скучал – протирал на тряпочке свой инструментарий, что-то полировал, что-то точил. Под дыбой плясал уютный невысокий огонёк – для тепла.

– Ну, спрашивай... – Аксэль приглашающе кивнул доктору на лавку. – Пытай меня. Обещаю не сильно запираяться.

Ван Геделе сбросил с плеч шубу – в пытошной было даже жарко – и снял шляпу. Поставил трость, саквояж.

– Первый вопрос, – сказал он, усаживаясь. – Я желал бы сделать ставку на твоём тотализаторе.

– Внезапно! – Аксэль поднял голову от инструментов, так, что лысина заиграла в лучах, словно набалдашник трости. – Кого избрал?

– Под каким номером у вас идёт обер-гофмаршал?

– Ого! – румяная физиономия Аксэля изумлённо вытянулась. – Он же вроде прежде был твой патрон? Насолил – за что ты так его?

Ван Геделе отвечал, то ли смущённо, то ли зло:

– Нет, сознательно он мне зла не делал. И всё-таки я его ненавижу. Знаю, что нипочём мне его не уничтожить – мы на разных этажах, но мне полегче станет, если я хотя бы поставлю деньги на его падение.

Доктор с явным усилием проговорил свою страдающую, беззащитную ненависть, и Аксэль вдруг его понял и сказал с сочувствием, положив квадратную лапищу на рукав Ван Геделе:

– Я знаю, как это – нести зло в ладонях, у самого сердца, год за годом. Сам никак не выпущу из рук подобную ношу.

– Кого?

– Прости, позволь не ответить. Я не так хорошо пока тебя знаю. А обер-гофмаршал – четвёрка. Сколько ты хочешь поставить? Или, может, хочешь в паре – если падёт один, падёт и второй. К нему хорошая пара – как в рифму, знаешь?

– Я знаю, – усмехнулся Ван Геделе, – но против его пары я как раз ничего не имею. Не стоит, вот, возьми гривенник – за него одного.

– Принято, – кат взял с его руки монету. – Он фигура невесомая, никто на него, кроме тебя, не делал ставок. Если сбудется, ты банк возьмёшь. Как я когда-то, в тридцатом.

– А на кого ты ставил?

– Я всегда ставлю – на номер один. Тогда был номер один – Ванечка Долгорукой. В тридцать четвёртом номером один был первый Лёвенвольд, но он сам помер, я продулся. А сейчас – ну, угадай, кто у нас сейчас первый?

– Кстати, вот и второй мой вопрос. У Хрущева в кабинете сидит такой – фон Мекк. И так, что же делается в крепости – чего я не знаю?

– А точно ты того не знаешь? Ты прежде был в «Бедности», неужели не приезжали к вам такие господа, в масках и на чёрной карете, и не привозили с собой арестованных с мешком на голове? И эти арестованные не подписывали у вас после душевных бесед отказ от собственности?

При упоминании о душевных беседах Аксэль два стальных зубчика из своего палаческого набора скрестил и позвенел ими друг о друга.

– Те мои господа даже не были в масках, – рассмеялся доктор. – Я видел в «Бедности» брата этого фон Мекка, ведь он такой же фон Мекк на самом деле, как ты или я. Его фамилия совсем другая, точно такая, как у знаменитых французских маршалов. Твой номер первый... Я всё понял, просто хотел удостовериться.

– Считаю, удостоверился. Да, их два брата, Густель и Гензель. Инкогнита проклятые. Они обделывают здесь свои дела, что-то вроде сухопутного пиратства. Старший брат – лучший друг папа нуар, и наш начальник Хрущов, несомненно, в доле, и все мы, и ты будешь. Ничего не изменилось по сравнению с тем, как они это делали в Москве, – они привозят жертву, якобы арестованного, и жертва, в ужасе от содержимого крепости, ну, и от меня... – Аксэль довольно хохотнул. – Подписывает в их пользу отказ от множества авуаров. Спроси у Прокопова – он всегда для них пишет, как самый толковый. У него и целая пачка заготовленных листов с отказами, куда нужно вписать только имя.

– Я понял. Давай вернёмся к Балкше. Она разыскала меня вчера и в двух словах рассказала, чего она хочет и что ты тоже с ними. Я понял, что в нашем с тобой доме время от времени играет некий спектакль, в котором все заняты – она, ты, Лопухины и даже обер-гофмаршал.

– Бери выше – в прошлый раз нас почтила присутствием принцесса Гессен-Гомбургская, – басом прошептал Аксэль. – Но ты верно сказал – это спектакль. И все это знают. Кроме разве что принцессы, посла и ещё парочки истеричных баб, принимающих фиглярство за чистую монету. Мы разыгрываем люциферитские мессы, ничуть в них не веря.

– Зачем же?

– Мода. В Париже сейчас, говорят, de rigueur – чёрные мессы. А наши модники тоже желают, чтобы у них было, как в Париже... Это, во-первых. А во-вторых, сам понимаешь – посол. У княгини Лопухиной, которая дочка старой Балкши, роман с цесарским послом, а преступная тайна свяжет любовников ещё крепче, у княгини откроются горизонты для шантажа. У них там сложная схема марионеточных верёвочек. Лопухина вся в руках у обер-гофмаршала, тот, в свою очередь, марионетка Остермана, а Остерман имеет преференции от цесарцев и желает получить в свои руки и нити, чтобы управлять их послом.

– Выходит, обер-гофмаршал продаёт свою метрессу – цесарскому послу?

– Уступает, но на время и задорого. Зато посол – отныне воск в его руках. Ты же поедешь сейчас домой? Я тоже вернусь пораньше, расскажу тебе, как там всё устроено и что придётся делать. Был ты прежде в театре?

– Я был лекарем в придворной труппе, – вспомнил доктор, – и, конечно, бывал за кулисами. Вправлял балеринам вывихи и заглядывал в горло оперным певицам. На одну так загляделся, что даже пришлось жениться.

– Ого! Тогда ты не потеряешься.

– Я буду ждать тебя дома.

Ван Геделе поднялся, надел шубу, шляпу, взял в руки саквояж и трость. Перчаток нигде не было. Вот где оставил?

– Хорошо, я приду и выдам тебе букет подробнейших инструкций... – Аксэль умиротворённо и задумчиво принялся натачивать кольцо на длинной ручке, страшно было подумать, для чего надобное. – И вместе посмеёмся...

– Ну, до свидания, учитель! – Доктор шагнул к обитой железом двери. – Я, кажется, оставил перчатки в морге, пойду, заберу.

– Погоди!

Кат вскочил, отбросив страшное кольцо. Но поздно – доктор уже вышел, и лёгкие шаги его слышны были по коридору – всё дальше и дальше. Аксэль выругался, даже плюнул в сердцах и побежал за ним – но, увы, пришлось запирать дверь пытошной, и кат изрядно отстал.

Доктор, играя тросточкой, танцующим шагом спустился по лестнице в подвал – звонкое эхо как будто передразнивало, высмеивало ритмический рисунок его шагов.

Солнце только взошло, и розовые робкие лучи вползали, змеясь, под потолок морга из низких окон, смешиваясь с жёлтым светом свечей.

«Откуда свечи?» – удивился доктор, ведь они ушли с Прокоповым, и в морге оставался только мёртвый распопа.

Впрочем, распопа был на месте... Доктор спустился ниже – и его увидел. Покойнику – нелепый каламбур – не поздоровилось. Грудная клетка его была раскрыта, как матросский рундук, являя миру немудрёное содержимое в свете тех самых свечей. В головах у покойника как раз стоял тройной подсвечник. Внутренности в дрожащем свете мерцали, как жемчуга в шкатулке. Два человека, с ног до головы в чёрном, в блёкло-выцветше-чёрном, как у монахов или у шпионов, по очереди доставали из мёртвого тела эти жемчуга и безмолвно рассматривали. Оба они были в масках и в платках, скрывающих нижнюю часть лица, и в монашеских капюшонах, и в перчатках – не было ни вершка неприкрытой кожи. Они одновременно повернулись к доктору от своих сокровищ, и один кивнул, а другой отчего-то зашипел, как змея.

– Я всего лишь за своими перчатками!..

Ван Геделе сошёл в морг, обогнул труп и две замершие чёрные фигуры, взял с колоды перчатки, вернулся на лестничные ступени, поклонился... И всё. Мол, простите, если потревожил.

Господа переглянулись и снова принялись копаться во чреве покойника, будто никакого доктора в морге уже не было. Ван Геделе пожал плечами и взлетел по ступеням.

И столкнулся с Аксёлем – на самом верху, на повороте коридора.

– Уф, не успел, – вздохнул Аксэль.

– И что ещё делается в крепости, о чём я не знаю?

– Я не успел тебе сказать... – Аксэль обнял его за плечи и повёл по коридору, оглядываясь на солдат, кое-где дремлющих перед дверьми. – Ты понимаешь по-французски? А то по-русски и по-немецки здесь все знают.

– Я-то понимаю, удивительно, что ты...

– Я дворянин, – уже по-французски продолжил Аксэль. – Много пил, играл, убил человека на дуэли. Я был даже кулачным бойцом, прежде, чем принят был в каты. Но сейчас мы же не обо мне говорим.

– И кто эти господа?

– Алхимики.

– И что они делают?

– Я же сказал – алхимики. Они испытывают яды, на наших арестантах, на тех, кому и так подписан смертный приговор. Или противоядия... Я толком не знаю, стараюсь не вникать. Эта история не такая явная, как с инкогнито фон Мекк, и я даже точно не знаю, с кем у них условлено. Но точно на самом верху, ведь папа нуар без препятствий их пускает. Возможно, потом получает свою долю от плодов их экзерсисов.

– И кто они, не знаешь? Лейб-медики или простые лекари?

– Бог весть, никто не знает. Они как тени, то есть, то нет их, и я вообще не помню, чтобы они говорили. Их даже никак не зовут – оба они Рьен, господа Ничего.

Они уже прошли коридор и стояли у выхода на крыльцо.

– Что ещё осталось в крепости, о чём я не знаю? – опять спросил Ван Геделе.

– Теперь – ничего, рьен, – рассмеялся Аксэль и легонько подтолкнул доктора к выходу. – До свидания у нас дома. Я скоро буду.

– Красивые розы, – князь Волынский в домашнем халате, трепещущем и мерцающем, как чешуя дракона, ходил кругами по комнате, задрал голову, и вглядывался в свежеразрисованный плафон. – И девочка, художница, тоже красивая, жаль, не довелось мне поболтать с нею тет-а-тет!..

Дворецкий Базиль, идущий за хозяином след в след, как лиса за курицей – с бокалом в одной руке и с графином в другой, – ехидно сощурился.

– И вашу милость тут же окрутили бы, обженили наши и зареченские кумушки. Помните, как дело было с девицей Сушковой? И только заступничество премилостивого патрона спасло вас...

– Не напоминай, язва!..

Базиль наполнил бокальчик, из-за плеча подал, и князь выпил залпом. Снова запрокинул голову, вгляделся – розы были дивно хороши.

Из гостиной слышался трелью клавикорд, и девочки-княжны в два голоса пели:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.